

Салли Ландау



Живые  
шахматы

Любовь  
и шахматы

ЭЛЕГИЯ МИХАИЛА ТАЛЯ



*Сали Ландау*

ЛЮБОВЬ И ШАХМАТЫ

ЭЛЕГИЯ МИХАИЛА ТАЛЯ



Салли Ландау

# ЛЮБОВЬ И ШАХМАТЫ

ЭЛЕГИЯ МИХАИЛА ТАЛЯ

*история одной любви,  
литературно изложенная  
Аркадием Аркановым*

МОСКВА

2003





ББК 75.581  
УДК 794.1  
Л 22

**ЛАНДАУ Салли**

## **ЛЮБОВЬ И ШАХМАТЫ. ЭЛЕГИЯ МИХАИЛА ТАЛЯ**

*Издательство «RUSSIAN CHESS HOUSE» (директор Мурад Аманназаров)  
Тел./факс: (095) 963-80-17, 964-13-54  
e-mail: chesshouse@softhome.net; andy-el@mail.ru*

Это книга воспоминаний о личных отношениях великого шахматиста-романтика, чемпиона мира Михаила Таля и его первой жены, человека, близкого ему в течение всей жизни, Салли Ландау, отношениях, как ею сказано, «нежных и противоречивых, светлых и грустных...»

Актриса и певица Салли Ландау дебютировала на сцене в 17 лет. Выступала в Вильнюсском русском драматическом театре, Рижском театре юного зрителя, в Литовском эстрадном оркестре, в оркестре Эдди Рознера и эстрадном оркестре под руководством Раймонда Паулса.

Дизайн обложки Юрий Косаговский

ISBN 5-4 4693-030-3

© Ландау Салли  
© RUSSIAN CHESS HOUSE

Изд. лиц. ЛР № 04901  
Подписано в печать 10.09.2003. Формат 60x84/16  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,56  
Тираж 3000 экз. Заказ 3840

При участии ООО «Стрежень»

Отпечатано с готовых диалозитивов  
во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

В задачу моих воспоминаний не входит воссоздание образа МИХАИЛА ТАЛЯ в полном объеме, равно как и в ореоле святости и непогрешимости. Это невозможно хотя бы потому, что он был необъятен и необычайно оригинален.

Я уверена, что для каждого человека, который с ним общался более или менее продолжительное время, существует “свой” Миша, и каждый оберегает его от посягательств других, считая собственную точку зрения правдой в последней инстанции. Для Гели, которая была его верной женой и преданнейшим другом в течение последних двадцати лет, есть только один ЕЕ Миша. Для их дочери Жанночки остается ЕЕ Миша, ЕЕ отец. Для Мишиных друзей – Алика Баха, Жени Бебчука, Ратко Кнежевича и многих других Миша – тоже “свой” и никакой другой: неповторимый и лично ему принадлежащий.

Для меня Миша всегда остается только моим – моим первым мужем, моим фантастическим другом, отцом нашего сына Геры, который носит его магическую фамилию ТАЛЬ... Это воспоминания о моих отношениях с Мишей, охвативших наши жизни вместе с их разноцветным и непростым бытом и продолжающихся каким-то необъяснимым образом и по сей день, об отношениях сначала интимных, потом близкородственных, отношениях нежных и противоречивых, светлых и грустных... И всегда окрашенных радужой влияния богатой, очень разной, открытой и таинственной, личности Михаила Таля.

Это – МОИ воспоминания и это – ГЕРИНЫ воспоминания.

Я очень хотела материализовать свои калейдоскопические воспоминания, пронизанные моими женскими эмоциями, и Герини, сыновни, в книгу, чтобы ее мог прочитать любой человек, даже не умеющий играть в шахматы...

*Салли Ландау*

### **Теплое лето на Рижском взморье**

Когда-то знаменитый Виктор Борисович Шкловский на семинаре драматургов в Ялте, согласившись после долгих уговоров выступить перед нами, молодыми семинаристами, начал, как обычно он начинал, словно лекция уже длится несколько часов... Как бы продолжая: "... и вот что самое интересное – вы здесь сидите, слушаете меня, рядом с вами сидит ваш друг Вася или Петя... Он балагурит, курит, выпивает, что-то там пишет, бегаёт за девочками, и вам в голову не приходит, что этот Вася или Петя – натуральный гений, что вы сидите рядом с гением, обращаетесь к нему на "ты" и даже считаете себя существенно талантливее... И только спустя годы вдруг выясняется, что сидели вы рядом с гением, а вы, как выяснилось спустя те же годы, – совсем не гений и, вполне возможно, даже не очень талантливый... И если вы находите в себе силы признать это, хотя бы под одеялом, то вы, по крайней мере, – честный человек..."

Не исключено, что Виктор Борисович сказал не совсем теми словами, что я привел, но смысл был именно такой.

По-разному люди трактуют слово "гений". Есть даже мнение, что гений – это разновидность шизофрении с типичной, ярко выраженной "идеей фикс", но только эта "идея фикс" у гения прорывает пространство и время, предопределяет будущее, уподобляясь внезапной ослепительной вспышке во мраке нашей жизни, позволяя всем остальным увидеть что-то непонятное сначала, таинственное и, возможно, страшное... И тогда мы либо задумываемся над этим, либо отрицаем и с удовольствием, с чувством собственной правоты подкладываем хворост в костер, на котором будет сожжен гений.

Я исповедую несколько иное толкование гениальности. Мне кажется, что все в мире, в том числе и гениальное, уже кем-то создано, но тщательно спрятано, закодировано, за-

маскировано, “заминировано”... и гению дано право свыше расшифровать эту тайнопись, что он и делает в течение всей отпущенной ему жизни, порой даже неосознанно... А когда сокрытое рано или поздно становится очевидным и понятным всем остальным, то возникает ощущение, что все это давным-давно известно и странно, что столь простое открытие не было сделано раньше.

Иными словами, гений – Богом избранный человек, может быть, даже случайно. Но в одном случае человек осознает свою гениальность, а в другом – даже не подозревает об этом, живет таковым, как дышит... Но в итоге оба – гении...

Гению не надо завидовать. Его надо воспринимать как гения, и если природа подарила вам возможность восхищаться, то и восхищайтесь им как гением.

Талантливый гроссмейстер Зураб Азмайпарашвили, выиграв вторую из двух основных партий у безусловно гениального Василия Иванчука (дело было в сентябре 1994 года в голландском городе Тилбурге), сказал мне: “Да! Конечно, Иванчук – гений! Но мы для того и живем, чтобы иногда побеждать гения...”

Я еще не могу сказать, сколько гениев сидело рядом со мной за мою жизнь – выпивали, шутили, заводили легкомысленные романы... Но одного гения могу назвать абсолютно точно.

Это – Михаил Таль.

... Стояло теплое лето на Рижском взморье. То было первое лето Талья в ранге чемпиона мира. На дачу, где он жил с женой и совсем маленьким сыном, меня привел мой друг, ныне известный артист эстрады Гарри Гриневич. Он представил нас друг другу. Я назваля, а Миша протянул мне руку и сказал: “E2-E4”.

И в дальнейшем, сколько бы мы с ним ни встречались в самых разных обстоятельствах, он неизменно здоровался со мной первым ходом белой королевской пешки...

Это было удивительно красивое, безоблачное лето с ленивым, как в фильмах Висконти, течением жизни, с ошарашивающе красивой женой, перед которой чемпион выглядел

молоденьким, романтически влюбленным в свою госпожу пажом, норвящим перехватить и прочесть каждый ее взгляд, предугадать каждое ее желание... Жизнь виделась роскошной дорогой с ликующими на обочинах поклонницами и поклонниками, готовыми нести своего кумира на руках. Но кумиру всего этого вроде бы и не было нужно. Он ехал на белом коне за изящной лошадкой в яблоках, в грушах, в персиках..., на которой грациозно покачивалась самая красивая женщина в мире, держа на руках самого красивого в мире ребенка... И это казалось вечным мгновением, которое должно было вот-вот остановиться... Еще Фишеру только восемнадцать лет, еще Анатолий Евгеньевич Карпов был лишь талантливым десятилетним мальчиком, еще нет и "в проекте" Гарри Каспарова...

Я не хочу, да и не имею права квалифицировать Мишу Талья как шахматиста. Об этом написаны тома. Написаны первостепенными, высококлассными профессионалами, как не добравшимися до чемпионского трона, так и посидевшими на нем... Но даже для них, немало преуспевших в деле, именуемом "Шахматы", разговаривающими друг с другом на языке шахматной нотации так, как разговаривают между собой поэты, рассыпая цитаты из мировой поэзии, словно бриллианты из волшебного мешка сокровищ, – даже для них Таль представлял непостижимую загадку... Что уж говорить о "шахматных обывателях", если гроссмейстер Пал Бенко мог заявить, будто Таль во время партии гипнотизирует его, вынуждая проигрывать выигранные позиции! Он даже решил, что нашел противоядие от парализующего взгляда Талья: пришел на очередную партию в темных отражающих очках и играл в них до того момента, пока в очередной раз не попал – как бы вдруг – в безнадежное положение... И тогда Бенко снял очки... В тот же момент темные очки надел Таль... Абсолютная шутка гения, которому и в голову не могло прийти, будто он обладает какими-то неземными декоординирующими флюидами... Хотя, кто знает, может быть, Таль на самом деле что-то "излучал", сам того не ведая... Ведь поговаривали же, и всерьез, что он вообще не из нашей Галактики (!).

И весь шахматный мир словно ополчился против гения. Каждый подсознательно хотел доказать, что Таль – не избранный Божий, что он из того же теста, что и остальные смертные, пусть и великие; правда, он играет в ненормальные, в неправильные, в “кривые” шахматы да и живет ненормальной, неправильной, “кривой” жизнью...

К встрече с ним готовились, против него вооружались, анализируя свои проигранные ему партии и партии поверженных им коллег... И клялись перед очередным поединком повергнуть наконец молодого “монстра”. Но начиналась партия, возникала в какой-то момент завораживающая талевская свирель – и упоенные ее мелодией противники добровольно лезли в пучину нелогичных, необъяснимых позиций с каскадом вроде бы самоубийственных жертв... И уже вот он, вот он – желанный миг победы, но, словно в кошмарном сне, парализована воля, высосана последняя энергия, и ватная рука делает суицидный жест, и обрывается звук свирели, и перед глазами бланк, на котором остается написать лишь одно слово – “сдался” и удостоверить его собственной подписью. Все это было похоже на современные триллеры с оборотнями или посланцами сатаны, против которых выступают самые опытные охотники, полицейские, самые совершенные технические средства. И все, казалось бы, предусмотрено, но в самый последний момент из какого-нибудь люка высовывается жуткая рука или щупальце и очередная жертва проваливается в преисподнюю...

Но Талю все это было невдомек. Он играл в свою игру, он видел больше, чем остальные, он источал энергию, он “оживлял” фигуры, он делал то, что обязан был делать, что не мог не делать по данному ему Природой праву. Он жил в своем, талевском, измерении, где он был Моцартом, где он должен был создавать свои великие шахматные мелодии. И подобно Моцарту, убедившему мир в том, что существует не семь канонических нот, а неисчислимо их количество, Таль убеждал мир, что на шахматной доске не тридцать две фигуры, а столько, сколько дано увидеть именно ему, что пожертвованные и погибшие фигуры оставляют на доске свой след, их ду-

ши продолжают витать над партией, а оставленные ими поля заколдованы и несут вам поражение, разочарование, непонимание, что же в конце концов произошло, и возможную зависть по отношению к победителю...

Таль не был снобом. В своем стиле он одинаково относился к победе как над чемпионом, так и над любителем в сеансе одновременной игры.

Часто, если я оказывался в том же городе, где проходил турнир с участием Таля и в свободное время он давал сеанс, мне непременно следовало от него приглашение "сесть двадцать шестым". И я с радостью это приглашение принимал. Ну что Арканов за партнер для Таля? Жалкий, неподтвержденный перворазрядник... Но если партия складывалась так, что дальнейшее течение не представляло для Миши интереса, он с серьезным видом предлагал мне ничью, которую я, естественно, принимал, становясь предметом восхищения со стороны участников сеанса и болельщиков. Если же партия втекала в талевское русло, он садился напротив меня на стул, нависал над доской, лицо его приобретало странное выражение, от которого становилось не по себе, он пожирал меня своими проникающими глазами, тяжело дышал, шевелил губами и делал наповал разящие ходы. "За что? – думал я. – За что, Миша? Мы же друзья..." И сразу же после окончания экзекуции он превращался в нежного, застенчивого Мишу и произносил: "Не убегай после сеанса. Мы с тобой выпьем, если не возражаешь..."

И я не возражал.

Но что-то после того лета, в моем представлении, пошло не так. Монументальный Михаил Моисеевич "ссадил" Мишу с трона, а потом раскололся, казалось бы, прочный семейный плот. И по одну сторону остался Таль, а по другую – самая красивая женщина в мире и самый красивый в мире ребенок... И болезни, и операции, и привыкание к морфию в послеоперационный период (это часто бывает), и мучительное отвыкание от него, и "Кент" в нечеловеческих количествах... Вторая семья, еще одна... И ничего материального для себя.

Все для тех, кто в данный момент рядом с ним и добр к нему... И практически полная нищета, хотя выигрывал он "неслабые" турниры и по составу, и по призовому фонду... А для себя – только шахматы да любовь к сыну, к дочери... И огромное количество кривотолков, потому что не укладывается гений в прокрустово ложе "нормального" человека... И как остается он загадкой в шахматах, так еще большей загадкой остается он как личность... Ну, не пришелец же он на самом деле... И вся его нарастающая с годами отрешенность какая-то... Как будто все равно, как продолжается жизнь и чем и когда она окончится...

... А поехал я в голландский город Тилбург, где проходил ежегодный престижнейший турнир, по главному обстоятельству... Сказали мне, что живущая в Антверпене мадам Салли Ландау хочет "иметь встречу" со мной на предмет написания книги по ее воспоминаниям о Тале, с точки зрения женщины, не просто близкой ему, – с точки зрения матери (скажем так) самого красивого для Милли ребенка... Потому что и для нее Таль до сих пор остается загадкой... Что ж поделаешь, если каждая женщина (это мое убеждение) живет с незарастающей раной, оставленной ей одним-единственным мужчиной... Что ж поделаешь, если каждый мужчина бывает ранен одной-единственной в мире женщиной. И это известно только ему...

... Я встречался с мадам Ландау сначала в Тилбурге, потом в Антверпене, где она сейчас живет. Я смотрел на нее и вспоминал то далекое, прекрасно-ленивое, как в фильмах Висконти, лето на Рижском взморье. И я решил окунуться в адский омут этой литературной работы и написать о Тале словами и чувствами женщины, которая была для него самой красивой женщиной в мире... Хотя думаю, что это загадку гения тоже не решит...

*Арк. Арканов*



В последнее время я все чаще прихожу к выводу, что человеческая жизнь есть не что иное, как мимолетное мгновение, кем-то искусственно растянутое на долгие или не очень долгие годы — кому сколько отпущено — с наполнением каждого прожитого отрезка времени конкретными и разными эпизодами, которые остаются на “складе” нашей памяти. И мы сами являемся “заведующими” этих складов. Одни “кладовщики” содержат все в полном порядке: “каталоги” случайных и не случайных событий, образы пересекавших вашу жизнь людей, их портреты, характеры, привычки, мысли, выражения, поступки... Имена и фамилии — в строгом алфавитном порядке. Полная хронологическая точность... Одним словом, некий мощный компьютер, который по вашему приказу тут же выдает нужный текст.

У других “кладовщиков” — настоящий бедлам, “свалка”, груда беспорядочно собранного “мусора”, роясь в которой, можно случайно наткнуться на какую-то деталь, и она напомнит вам что-то, может быть, не очень приятное, и тогда вы швырнете ее снова на свалку, а может быть, совсем наоборот — эта деталь, лоскуток, обрывок, заденет какую-то душевную струну, и она зазвучит, возрождая прежнюю, давнюю, казалось бы забытую, мелодию, и эта мелодия потянет вас в сладкий омут пережитых когда-то неповторимых волнений. Как старые фотографии или любительские видеофильмы, на которых либо вы когда-то кого-то запечатлели, либо кто-то когда-то запечатлел вас... Как ласковый сон, когда не хочется, чтобы он окончился, когда хочется, чтобы он был вечным (я иногда наивно надеюсь на то, что смерть — томительный теплый вечный сон).

Я принадлежу к “кладовщикам” второго рода. Я — бессистемный импульсивный человек, который сначала что-то делает и лишь потом думает над тем, что он сделал. Я обыкновенная слабая женщина, в которой жила и живет, радовалась и радуется, страдала и страдает ее женская сущность в полном смысле этих слов. Во мне, как себе представляю, удивительным образом уживаются эгоистичность и стремление к самостоятельности с любовью к окружающим меня людям и подсознательным желанием быть женщиной, защищенной живущим с тобой мужчиной от всякого рода мелких и крупных житейских неприятностей...

Я буду откровенной в этой книге. Миша мне простит... Как и раньше прощал... Потому что любил — позволяю себе так думать.

Заранее прошу извинения у тех людей, которых не упомяну, когда буду говорить о Мишиных друзьях. Я ведь сказала, что являюсь “кладовщиком памяти” второго рода, тем более, что после Мишиной смерти у него объявилось огромное количество друзей. Но, поверьте мне, многие из них при Мишиной жизни не имели права называть себя даже просто хорошими знакомыми. Всегда бывает так — после смерти выдающаяся личность обрастает друзьями, одноклассниками, дальними родственниками... Вспомните Маяковского, Высоцкого... Но простим людям их слабость — это, видимо, подсознательное или, может быть, сознательное желание увеличить свою значимость на всю оставшуюся жизнь... Я прошу также прощения за то, что вполне осознанно не назову некоторые имена и фамилии, чтобы не ставить ни самих этих людей, ни их близких в неловкое, порой двусмысленное положение... Может быть, они и не сделали Мише ничего плохого, но, как говорится, на всякий случай. Кто их узнает, тот узнает, а кто не узнает, может быть, и не надо: не стоит возвращаться в давнее прошлое...

Но повторяю: скрывать я ничего не собираюсь, да и скрывать-то нечего... Даже возраст... Кстати говоря, меня всегда немного смешат женщины, скрывающие свой воз-

раст. Еще можно манипулировать годами в юности, в молодости, скидывая или прибавляя некоторое количество лет в зависимости от конкретных обстоятельств — безобидные, чисто женские уловки. Но потом?!..

Я могу смело открыться вам: родилась в городе Витебске в 1938 году. Чтобы ни у кого не было поздних разочарований, сразу скажу, что родители мои были еврейскими актерами. Фамилия отца, которую я ношу по сей день, Ландау, и это единственное, что у меня есть общего со знаменитым физиком, хотя многие были убеждены, что я из семьи того самого великого “Дау”. В общем-то такое заблуждение можно понять: представителям неосновных национальностей всегда хочется верить в неординарность — уж если великий Михаил Таль женился на Салли Ландау, то эта Салли — наверняка дочка или, на худой конец, племянница “того самого”! Увы! Михаил Таль женился на дочери двух незначительных актеров.

Моя мама играла на сцене с тринадцати лет. Не хочу преувеличивать — то не было результатом ее какого-то небесного дарования, хотя, как сама могла потом убедиться, актриса она была хорошая. Мамина ранняя профессионализация объяснялась весьма земными причинами: в семье помимо нее было еще пятеро детей, и просто нечего было есть — надо было зарабатывать на жизнь. В Минске ее приняли в театральный институт, где она и познакомилась с папой.

Что касается отца, то он был совершенно незаурядной личностью. Я уж не говорю о его уме, актерском даровании, невероятном и особенном чувстве юмора. Миша, с удовлетворением замечу, его обожал... Папа обладал уникальными музыкальными способностями. Он играл на семи музыкальных инструментах. У него был прекрасный баритональный тенор. Он закончил дирижерские курсы. Однажды Соломон Михоэлс увидел отца на сцене. Он сказал ему немало лестных слов и даже, кажется, пригласил в свой театр... Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает...

Война внесла свои коррективы не только в жизнь моих родителей...

Мне тогда было два с половиной года, и, конечно, я почти ничего не помню. Но из рассказов родителей знаю, что, когда началась война, я была у бабушки в Витебске. Театр, в котором мама с папой работали, разъезжал с гастролями по всему Советскому Союзу, и меня отправили к бабушке. Фашистская армада приближалась столь быстро, что бабушке вместе со мной и двумя моими тетями пришлось, все бросив, в буквальном смысле слова удирать в Сибирь. Какими-то обрывками помню жаркий переполненный поезд, бомбёжки, в которых я, будучи совсем маленькой, не видела никакой опасности и не понимала, почему бабушка, как только в небе появлялись самолеты, бросалась на меня и закрывала своим телом.

Вообще человеку свойственно помнить запахи детства — до сих пор слово “война” ассоциируется у меня с запахом крутых яиц и неповторимым запахом бабушки...

А с мамой и папой мы просто потерялись. Потом я узнала, что для того времени такое было не столь редким явлением. Война началась летом — кто где... Многие теряли своих детей, братьев, сестер. И далеко не всем удавалось в конце концов найти друг друга. Повторяю, я смутно помню события тех дней. И поскольку жила в основном у бабушки, то и думала, что она моя мама. А бабушка часто говорила, что вот, Саллинька, скоро найдутся мама с папой и ... Для меня это было, можно сказать, пустым звуком, отвлеченным понятием. Раз я считала, что бабушка и есть моя мама, то (по ее словам) часто спрашивала: “Разве у меня есть еще и вторая мама?” Бабушка пыталась мне объяснить, но напрасно...

Ст сибирской эвакуации в моей памяти сохранились три главных фрагмента: очень добрые люди, постоянное чувство недоедания и белый-белый снег под ярким солнцем — даже глаза слезились... И еще я отчетливо помню, как к нам в домик приходили люди, как бабушка ставила меня на табуретку и я пела... Про Катюшу пела, “Бьется в тесной печурке

огонь” тоже пела. Смысла, конечно, не понимала, но пела. Голосок у меня был забавный (это мне потом говорили мама с папой и бабушка), а слух, как выяснилось много позже, — абсолютный... Люди приходили, помню, не с пустыми руками: кто молоко приносил, кто яйца... Будем считать, что зарабатывать на хлеб “сценической деятельностью” я начала с двух с половиной лет...

А мама с папой, оказывается, попали в Ташкент и позже через Красный Крест разыскали нас. За мной приехала моя тетья и увезла в Ташкент. Мне тогда уже было пять лет, и я, можно сказать, впервые увидела своих родителей и еще долгое время называла их на “вы”.

Чтобы прокормиться, родители давали, как тогда выражались, “левые” концерты и брали меня с собой. На этих концертах я пела уже под оркестр. В общем, я превратилась в типичного “вундеркинда”... Голос, как говорили, был у меня “потрясающий”, с диапазоном в две октавы. И любила я это занятие — хлебом не корми. Хотя все относительно — одним из главных и наиболее стойким воспоминанием о детстве остается все-таки постоянное недоедание...

Потом я стала петь на радио, а моя тетья мне аккомпанировала. Она-то и настояла, чтобы в шесть лет меня отдали в ташкентскую музыкальную школу.

Я не случайно рассказываю о тех годах довольно подробно, потому что обостренная любовь к сцене, к музыке, к пению, к завораживающему тебя актерскому бытию стала неизменным лейтмотивом всей моей жизни. Это отразилось впоследствии на моих взаимоотношениях с Мишей, по-разному и очень сильно...

В музыкальной школе я проучилась два года, потому что папа с мамой уехали вместе со своим театром в не помню уж какой город. Где-то в центре России. И меня опять отправили к бабушке в Белоруссию, но теперь уже в Могилев, где я жила несколько лет. А в пятьдесят втором году все еврейские театры расформировали, многих ведущих актеров посадили,

кого-то расстреляли, кого-то упекли в сумасшедший дом... Жуткое было время... Отец скрывался, его разыскивали... Наконец родителям повезло: моя тетя вышла замуж в Вильнюсе и помогла им перебраться туда. Для них Вильнюс оказался спасением, а для меня – второй родиной.

Меня приняли в детскую музыкальную школу при Вильнюсской консерватории. Учиться пришлось в двух школах одновременно – в общеобразовательной и музыкальной. Заниматься было чудовишно трудно, учитывая мою “особую любовь” к математике, химии и физике. Но меня переводили из класса в класс, потому что я занимала для школы первые места на разных конкурсах художественной самодеятельности. Девятый и десятый классы я заканчивала в вечерней школе, но даже не очень высокие требования меня не спасли – на выпускных экзаменах я получила двойку по алгебре, вручение аттестата зрелости отложили до осенней переекзаменовки. Но это обстоятельство меня не очень тронуло, потому что все мои помыслы были в то время устремлены к музыке и... актерской деятельности. Видимо, сказались родительские гены, и я стала посещать драмкружок при консерватории, где довольно скоро обратила на себя внимание.

И вот в это самое лето, когда я благополучно завалила алгебру, в Вильнюс приехал директор МХАТа Радомысленский. Он увидел меня в любительском драмкружковском спектакле и сказал, чтобы я все бросила и поехала в Москву учиться. Уговорить меня не составило большого труда – я была (и такой осталась) легкой на подъем, со склонностью к безоглядным поступкам и с довольно высоким рейтингом, который, признаюсь, я сама себе установила.

Тот год был для меня страшно везучим и каким-то светлым. У меня все получалось с первого раза. Я приехала в Москву и сдала вступительные экзамены по актерскому мастерству в четыре (!) высших учебных заведения – во ВГИК, в Школу-студию МХАТ, в ГИТИС и в Вахтанговское училище! И была допущена к экзаменам по общеобразовательным дисциплинам, но тут-то и выяснилось, что у меня нет аттес-

тата зрелости... Я сказала, что аттестат привезу или пришлю осенью, что я не сдала алгебру. И уехала обратно в Вильнюс.

Мама с папой устроили по поводу моего приезда большой праздник, пригласили в нашу квартиру друзей и родственников и сообщили им радостную весть, что их талантливая доченька принята аж в четыре московских вуза сразу. Все радовались, и поздравляли, и выпивали, и ели всякие вкусности, которые приготовила бабушка. И папа пел, и дочка пела и сама себе аккомпанировала на фортепьяно, и вообще — жизнь прекрасна и удивительна.... Среди гостей был режиссер Вильнюсского русского драматического театра, необычайно талантливый человек с не очень запоминающейся фамилией — Головчинер. Он поел, попил, как говорят в таких случаях, “разомлел” и вдруг ни с того, ни с сего говорит папе:

— Ну, и что? Ну, поедет Саллинька в Москву... Ну, прочитается там целых пять лет. И для чего? Для того, чтобы надеяться, что в сорок пять лет ей дадут сыграть Офелию? Я предлагаю другой вариант: у нее нет диплома — зато у нее есть дарование. У меня есть актеры с московскими дипломами, которые не могут сделать по сцене и двух шагов... С вашего позволения возьму ее в труппу без диплома, и вы увидите...

Нет, действительно, это было везучее лето — меня взяли в труппу Вильнюсского русского драматического театра.

Через три месяца я уже играла в спектакле “Сонет Петрарки”. Салли Ландау заметила вильнюсская пресса... Я иногда достаю газетные вырезки с панегириками в мой адрес; перечитываю их с некоторой усмешкой. С грустной усмешкой... И думаю: “А что, если бы я все-таки уехала учиться в Москву? Сколько красивых способных молодых провинциалок пытались завоевать столичный театральный мир! И сколько из них остались на ролях “вторых грибов в третьем составе”!”

И вот, когда я так думаю, то сама себе отвечаю: “Салли, как это ни тривиально звучит, но: судьба приготовила тебе другую роль. Она распределила тебя в другой театр, где главную роль будет исполнять Гений, а ты будешь в роли его жены. И это страшно трудная роль — роль любящей и страдающей, роль ревнивой и вызывающей ревность, роль матери,

сестры и любовницы одновременно, роль зависимой и роль рвущейся к самостоятельности... Видимо, непосильная для тебя роль. Но ты останешься в этой роли до конца жизни, даже тогда, когда Гений уйдет со сцены...”

Тогда мне было семнадцать лет.

С Мишей я познакомилась через два года.

Я не хочу обременять читателя перипетиями своей актерской жизни в Вильнюсском русском драматическом театре. Если это кому-нибудь и интересно, то только, пожалуй, мне самой.

Сегодня, спустя много лет, я прихожу к выводу, что сюжетная линия моей судьбы была спланирована где-то ТАМ. Порой эта линия пересекалась с линиями случайных людей, не задержавшихся в моей памяти даже именем. Иногда встречались люди, оставившие в моей жизни глубокий след. Но так или иначе все жестко и закономерно шло к тому, что на авансцене должна была появиться главная фигура. Цепочка случайностей, которая становится закономерностью, осознается нами, как правило, потом. В то давнее время я сама себе напоминала попрыгунью-стрекозу, и лето красное казалось вечным, и зима не катила в глаза... Дара ясновидения я была лишена (и слава Богу!). Я обладала другими качествами — хорошо пела, недурно играла на рояле, легко двигалась и была чертовски хороша. Так, во всяком случае, говорили окружающие, к моему искреннему удивлению. Пройти по улице незамеченной мне никогда не удавалось. Наверное, виной всему были мои огненно-рыжие волосы...

Как-то, когда Миша взял меня на турнир на Кюрасао, мы возвращались с пляжа в гостиницу... Он остановился, посмотрел на меня внимательно и вполне серьезно, без иронии, что было для него редкостью, сказал: “Такие волосы бывают только у инс планетянок”. Они у меня были не просто рыжие — они имели цвет золотого слитка. Но самое поразительное заключалось в том, что точно такого же цвета и глаза... Однажды во время гастролей театра в Белоруссии я зашла в один магазинчик, и продавщица, взглянув на меня,



сказала: “Девочка! Как Вам удалось так удачно выкрасить волосы под цвет глаз!”

Ну, да ладно...

Худсовет театра решил ставить “Эзопа”, и на постановку был приглашен режиссер Театра им. Вахтангова Георгий Барышников. После одной из репетиций я вышла во дворик театра. День был теплый и солнечный. Я зажмурила глаза и подставила лицо солнцу. И неожиданно услышала: “Вы не боитесь, что Ваши волосы выгорят?”

Это был Барышников. Он смотрел на меня так выразительно, что мне стало как-то не по себе. Я уже знала цену таким взглядам. Но на сей раз это было так чисто и так искренно, что мне даже не захотелось, как принято говорить, “отшить” его, хотя за словом в карман в подобных случаях я, как правило, не лезла. “Теперь я понимаю, — сказал он, — почему в Вильнюсе Вас называют Суламифь”.

Красивый мужчина ни тогда, ни потом не имел шанса стать героем моего романа. Красавчики не волновали меня. Барышников не явился исключением из моих предпочтений: фантастический интеллект, образованность и удивительная тактичность.... Он был невысокого роста, полноватый, в очках. Ему было тридцать два года против моих восемнадцати... В общем, не буду утомлять подробностями — он стал моим первым мужчиной и учителем во всем: в театре, в жизни, в любви... Во всем. Наши взаимоотношения развивались так бурно, что вскоре он ушел от жены, и мы договорились, что он забирает меня в Москву, в Вахтанговский театр... “Эзоп” был выпущен, я провожала Барышникова в аэропорту Вильнюса. До сих пор помню его лицо в маленьком окне самолета. Меня не мучили никакие дурные предчувствия. Я находилась в радостном предощущении будущего...

Через два дня из Москвы позвонила его мама и сказала, что Георгий умер от инфаркта миокарда. Второй раз судьба “не пустила” меня в Москву. Если бы я что-то хотела приукрасить, то, наверное, придумала бы здесь эпизод, в котором случайная цыганка нагадала мне скорую не очень дальнюю дорогу в другой город. Но никакой цыганки не было.

Было отчаяние, была затяжная депрессия и было полное отторжение театра и всего, что могло напоминать о Георгии...

Так случилось, что тогда приехал на гастроли Рижский ТЮЗ, и его руководитель Павел Хомский предложил мне стать актрисой этого театра и переехать в Ригу. Моя воля в то время была настолько парализована, а апатия столь велика, что, если бы мне предложили переехать в Таллин, Брянск, Новосибирск, тоже бы согласилась. Я не могла больше оставаться в Вильнюсе, хотя любила и люблю этот красивый город. Я бы просто повесилась от тоски и одиночества. И ни мама, ни папа, ни бабушка не смогли бы мне помочь... Паша Хомский оказался в тот момент спасительной соломинкой, и маршрут моей судьбы круто изменился...

Итак, я переехала в Ригу, стала актрисой Рижского театра юного зрителя, целиком ушла в работу, в репетиции, в спектакли, в концерты. Надо сказать, театральная и светская жизнь в Риге по сравнению с Вильнюсом была более активной, более, можно сказать, столичной. Помимо работы в театре я стала выступать в концертах как эстрадная певица. Обо мне стали говорить, “на меня” начали ходить... Появились поклонники, раздавала автографы. Не было недостатка в многочисленных предложениях как творческого, так и нетворческого характера — некоторые известные в Риге представители противоположного пола завлекали в жены... Даже думать об этом не хотела! В голове у меня были только эстрада, театр и снова эстрада... К тому же я влюбилась в Хомского. Вообще мне везло в жизни на талантливых людей. А к Хомскому я привязалась еще и как маленькая, оставшаяся без хозяина собачонка. Чуткий и деликатный, он вытащил меня из депрессии и стал именно другом, а не — как бывает — режиссером, использующим свое служебное положение... Так что ни о каком замужестве не могло быть и речи. Я уж не говорю о том, что любое замужество тогда воспринимала как потерю самостоятельности и возможности заниматься любимым делом.

Странные все-таки во мне уживаются противоречия, и их немало: с одной стороны, хотя бы вот этот болезненный

страх потерять личную свободу, с другой — не менее болезненная боязнь одиночества и подсознательное желание иметь рядом сильного человека, с которым не страшно перевернуться в лодке, оказавшись в открытом море, даже если ты совсем не умеешь плавать. Эти противоречия сыграли немалую роль в моей жизни с Мишей...

В Риге было много мест, где любила собираться местная элита — разнородная смесь актеров, спортсменов, врачей, адвокатов. И при всей пикантности национального вопроса прекрасно общались между собой и латыши, и русские, и евреи... Что-то было в этом рижском воздухе европейское в самом лучшем смысле слова. А может быть, так только казалось, потому что о подлинной Европе мы только слышали. Или видели в кино.

Среди моих тогдашних приятелей был молодой врач Саша Замчук. Сейчас он известный московский уролог. В конце грядущего восьмого, за несколько дней до Нового года, Саша пригласил меня встретить Новый год в знаменитом рижском ресторане “Астория”. По тем временам это был фешенебельный ресторан с изысканным обслуживанием, прекрасной кухней и популярным на всю Ригу колоритным метрдотелем Робертом.

И вот в ночь с 1958 на 1959 год в ресторане “Астория” Саша Замчук познакомил меня со своим одноклассником, с которым они сидели за одной партией, с уже знаменитым Мишей Талем. Саша так и представил его: “Познакомься — это наш знаменитый Миша Таль”. Я слышала пару раз, что есть такой молодой шахматный суперталант — Таль, но как-то мне это было все равно. Во-первых, шахматы меня абсолютно не интересовали, а во-вторых, мало ли на свете знаменитостей! Я сама, между прочим, скоро стану знаменитостью... А так как в ту новогоднюю ночь Таль не произвел на меня никакого впечатления, то мне было абсолютно безразлично, какое впечатление произвела на него я. Потом Саша пригласил меня на танец и все время объяснял, какой Миша гениальный, какой он уникальный, и вообще — это будущий чемпион мира. А к Ми-

ше бесконечно подходили и знакомились с ним, и его с кем-то знакомили, и приглашали за другие столики... Потом все перемешались, и я в актерской компании уехала в Дубулты, где мы и закончили встречу Нового года на вилле у одного модного рижского художника.

«...Когда маленький Миша впервые пришел в школу, то его сразу... перевели в третий класс – настолько он оказался развитым. Когда юноша окончил десятилетку, ему в виде исключения разрешили в возрасте 15 лет поступить в Рижский университет. Там двадцатилетний комсомолец Михаил ныне заканчивает пятый курс историко-филологического факультета.

...Еще несколько лет назад мы слышали, что в Риге есть паренек, который здорово играет в шахматы, быстро, почти не задумываясь, он рассчитывает сложнейшие варианты.

...В начале XXIV чемпионата СССР А. Котов заявил: “Первое место займет Таль!” Это был изолированный голос. Ему не верил и сам М. Таль.

...При современном развитии шахмат, особенно в нашей стране, трудно добиться такого грандиозного успеха. Пройти марафонскую дистанцию в 21 тур, пройти почти невредимым через “огонь” 8 международных гроссмейстеров, обойти их – это шахматный подвиг! Трудно, почти невозможно в наших чемпионатах добиться гроссмейстерского диплома. Гроссмейстеры не любят “прибавления своей семьи”. Они очень строгие экзаменаторы. Но на этот раз в роли экзаменатора оказался молодой шахматист. Хотя М. Таль еще очень молод, можно сказать, что в его лице шахматная семья получила совершенно зрелого гроссмейстера высокого класса.

...В 1935 году молодой чемпион СССР Михаил Ботвинник получил звание гроссмейстера СССР № 1. Прошло много лет. М. Ботвинник стал чемпионом мира. Сегодня Михаил Таль получил титул гроссмейстера СССР № 19. Может быть, эти два Михаила и встретятся как-нибудь в матче!»

*Сало ФЛОР  
("Огонек", 1957 г.)*

С той самой новогодней встречи прошло четыре десятка лет. Уже нет Миши. А у меня все время постоянное ощущение, что он просто куда-то уехал, откуда очень трудно позвонить. Я общаюсь с ним в моих снах, они, надо сказать, часто меня посещают. Сны очень реальны, и если утром меня вырывает из моих сновидений телефонный звонок (живу я сейчас в Антверпене, в Бельгии) из Москвы, или из Парижа, или из Берлина, я хватаю телефонную трубку с особым возбуждением: наконец-то Миша позвонил! Но не Мишин голос встряхивает меня и все расставляет на свои места — это, конечно, не он. И он уже не позвонит. Никогда. Никогда. Никогда...

Я с детства боялась этого холодного слова “никогда”. Помню, время от времени спрашивала бабушку: “Бабушка, а если я умру, то ни ты меня, ни я тебя больше никогда не увижу?” Бабушка восклицала что-то по-еврейски. Я плохо понимала, что именно, но по интонации догадывалась: “Господи! Скажи этой девчонке, чтобы она не болтала невесть что!” Но я становилась настойчивой и не отставала. Тогда бабушка отвечала: “Никогда! Никогда! И большие не хочу этого слышать!” Но мне было мало: “И завтра “никогда”? И послезавтра “никогда”? И после-послезавтра? И через миллион лет? Но ведь потом-то будет “когда”? Мне казалось, что через миллион лет “никогда” кончится, и я, умершая, в один прекрасный день снова открою глаза и увижу бабушку, и увижу солнышко, потому что “никогда” кончилось... Но в ту же минуту неприятный холодок наполнял мое существо, и я понимала, что “никогда” будет продолжаться вечно...

Я была убеждена, что Миша не может уйти из моей жизни. Что бы с ним ни случилось, в какую бы “безнадегу” (кстати, это слово я впервые услышала от Миши) он ни попадал, какой бы пессимистический диагноз ни ставили врачи, я была уверена: он выкарабкается, он — такой, он будет жить вечно со своими вечными недугами...

Я вспоминаю ту новогоднюю ночь и все, что за ней последовало в течение всей моей жизни, и мне иногда кажется,

что Миша возник не в ту ночь, что он был значительно раньше, что даже слушал меня тогда, когда я, стоя на табуретке, пела для пришедших к нам в дом людей “Бьется в тесной печурке огонь”. В той сибирской деревне во время войны. Он был среди тех людей. Вот так нас кто-то словно примагнитил друг к другу. И ни я не могла потом от него “избавиться” навсегда, ни он от меня...

Через несколько дней после Нового года позвонил Саша Замчук и спросил, как мне понравился Таль. Я ответила, что никак. Таль и Таль. “А ты ему понравилась”, — сказал Саша... Услышать это было приятно. Да и не верьте никогда той женщине, которая скажет вам, что ей безразлично, нравится она или не нравится мужчинам... А еще через пару дней в театре подошел ко мне наш администратор Григорий Ефимович и говорит:

— Саллинька, тебя на Новый год видели за одним столиком с Мишей Талем. Вот бы тебе с ним поближе познакомиться. Это гениальный мальчик из очень хорошей семьи...

А когда одна моя рижская приятельница, спустя еще пару дней, сказала, что хочет пригласить меня в гости к своему знакомому, к Мише Талю, что он очень просил ее привести меня к нему в дом, я поняла, что меня “окружают”, и мне уже стало любопытно.

Вот так, однажды вечером, я впервые перешагнула порог дома Талей. Помню, меня сразу поразила обстановка их квартиры. И дело не в удивительно красивой антикварной мебели или фантастической хрустальной люстре, висевшей над большим тяжелым, впечатляющим столом. Меня вообще ни тогда, ни сейчас внешние “прелести” жизни не волновали, уотя, как мне кажется, толк в красоте я понимаю. К разным драгоценным украшениям была всегда равнодушна. Миша меня называл — надеюсь, не без оснований — бессребреницей.

Помню, когда мы с родителями жили в Ташкенте, меня послали за хлебом, как говорили тогда, “отоварить” хлебные кар-

точки. Ко мне подошла нищая старушка, и я отдала ей все хлебные карточки. Можно только представить, какой скандал устроили родители – семья осталась без хлеба до конца месяца. Но оказалось, что старушка с этими карточками все время незаметно шла за мной, постучала в дверь и отдала их родителям. Старушку накормили, надавали ей каких-то вещей, и перед уходом она сказала, должно быть, самый дорогой в моей жизни комплимент: “Девочка! Я всю жизнь буду за тебя молиться”.

Так что не наружный вид квартиры Талей поразил меня в тот вечер, а тот какой-то несоветский дух их дома. Я сразу вдохнула буржуазный (в самом хорошем смысле слова) воздух. Кто бывал в этой квартире, тот поймет меня. Как-то сразу становилось ясно, что здесь живут не “серийные” люди, а совершенно “штучные”, и отношения между этими людьми не укладываются в привычные рамки социалистического общежития.

Меня встретили Ида – Мишина мама, элегантный Роберт – Мишин отец. Встретил меня Миша. Он был возбужден и, по-моему, немного нервничал.

На этот раз я разглядела его довольно отчетливо. Невысокого роста, щупловатый. Огромные глаза, в которых как бы отражаются сменяющие одна другую озорные мысли и идеи, совершенно великолепные выгнутые брови, акцентированный нос и неповторимая пухлая нижняя губа, которую он очень характерно выпячивал...

Разговор как-то сразу не заладился. Чувствовалась некоторая неловкость. Показали мне, как водится, всю квартиру, и я обратила внимание на висевший на стене портрет интересного мужчины. “Кто это?” – поинтересовалась я. “Это мой отец, – сказал Миша, – доктор Таль”...

Только много позже я узнала, что отцом Миши на самом деле является Роберт, но считается доктор Таль. Это особая история – она подчеркивает нестандартность взаимоотношений в семье Талей. И к ней я вернусь обязательно...

Потом Миша вдруг сказал: “Мне Саша Замчук говорил, что Вы очень хорошо поете. У нас есть инструмент. Спойте что-нибудь... Пожалуйста”.

Сейчас я очень стесняюсь садиться за рояль или петь, и редко кому удается уговорить меня “помузичировать”. А тогда меня не надо было упрашивать. Я могла часами петь и играть, и никакая обстановка меня не смущала.

Я села и сыграла сначала свою любимую “ЭЛЕГИЮ” Рахманинова. Сколько раз впоследствии по Мишиной просьбе я играла эту вещь! Миша вообще обожал Рахманинова — он был, думаю, абсолютно созвучен его душевным настроениям.

И я помню изумленное Мишино лицо, когда он вдруг увидел и услышал, как молоденькая красивенькая рыжая девушка играет Рахманинова. Он смотрел на меня так, словно сделал какое-то невероятное открытие. И еще я спела тогда одну песню, которая стала для Миши во взаимоотношениях со мной своеобразным паролем — “Я сказал тебе не все слова...”

Я сказал тебе не все слова —  
Растерял я их на полпути.  
Я сказал тебе не те слова —  
Их так трудно найти...

Всякое между нами было и тогда, когда мы жили вместе, и тогда, когда уже не вместе жили, но вдруг раздавался откуда-нибудь из Буэнос-Айреса телефонный звонок, и в трубке непременно слышалось “я сказал тебе не все слова...” А я и вправду думаю, что в нашей жизни он мне сказал не все слова, и я ему, к сожалению, тоже все слова сказать не успела...

Но, похоже, что я и впрямь не так уж плохо играла тогда и пела. Во всяком случае Миша часто говорил про меня, когда знакомил со своими друзьями: “Это моя жена. Если в компании находятся тринадцать мужчин, то двенадцать влюбляются в нее сразу, а тринадцатый — после того, как она садится играть и петь”...



Когда мы с моей приятельницей стали собираться домой, Миша сказал, что уезжает в Тбилиси на первенство СССР, и спросил, не дам ли я ему свой телефон и не буду ли против, если он мне оттуда позвонит. Я сказала, что не против. Но не могла предположить, что это невинное “Вы не против, если я Вам оттуда позвоню” превратится в настоящую ежедневную телефонную “бомбежку”...

Я была увлечена Хомским. Иногда мне кажется, что я — своего рода прибор, способный улавливать импульсы таланта или, во всяком случае, неординарности. Искра божья, дарованная таланту, могла порой разжечь и во мне костер, и этот костер разгорался по мере того, как я подбрасывала в него хворост своих фантазий. Мне свойственно наделять человека такими качествами, которые бы я хотела в нем видеть. Люди вроде меня часто становятся жертвами обмана, разочаровываются. Но в этом отношении Бог меня миловал... Не всегда, конечно, но хорошо, что не часто...

Паша Хомский был мной сфантазирован. Отношения наши родились в одночасье, но долгими не стали, очевидно, к счастью и для него, и для меня.

Пик наших отношений как раз пришелся на то время, когда Миша “бомбил” меня из Тбилиси. Но, может быть, именно эти его атаки и сыграли свою роль. Во всяком случае, когда он возвратился после чемпионата в Ригу, мои фантазии иссякли, и костер погас так же быстро, как и вспыхнул.

А с Мишей мы начали встречаться. Прошу прощения за это слово “встречаться”. Я не переношу этот ханжески-условный эвфемизм и выражение “встречаться” в данном случае употребляю в его чистом первоначальном значении. Миша часто приглашал меня к себе домой, где меня привечали его мама и Роберт. Они были исключительными людьми, людьми высокой интеллигентности и безупречного такта. Общение с ними было для меня приятным, но далеко не простым. Дело в том, что светская Рига обойти красивую, молодую и уже популярную актрису, не опутав ее паутиной нелепич, лживых, а иногда и грязных слухов, не могла. Говорили, что

это я довела до гроба такого талантливого режиссера, как Барышников, что я пыталась разрушить семью Хомского. Говорили о моей безнравственности, имея в виду рискованную роль в спектакле “Чертова мельница”... И черт знает, что еще... Понятно, что вся “талевская” родня побаивалась за Мишу и относилась ко мне, по меньшей степени, насто-роженно. Я это чувствовала, хотя ни Ида, ни Роберт, ни Мишин брат Яша ни взглядом, ни словом ни разу не дали мне это понять.

С Мишей мы на столь деликатную тему не говорили. Только однажды. Дело в том, что его ухаживания, его ин-терес ко мне возрастали по принципу снежного кома. Он бук-вально не давал мне прохода. Он встречал меня у служебного входа в театр после окончания спектакля. В то время у Ро-берта была “Победа”. И Миша заставлял Роберта подвозить его в дни спектаклей к театру, и, сидя в машине, они подолгу ждали моего появления, дабы “похитить”. Роберту эта “ра-бота” была не очень-то приятной, но он исполнял ее ради Миши, слово которого для него было законом. Так вот, по-сле очередного такого “похищения” я спросила у Миши, не навредит ли его репутации общение с такой “беспутной”, по мнению светской Риги, личностью, как я. Он посмотрел на меня своим типично талевским изумленно-ироничным взглядом и ничего не сказал. Но смысл этого был ясен: “По-моему, Вы меня не за того принимаете”.

Вот так мы с ним и встречались. Нам было интересно друг с другом. Мы могли говорить на любую тему. Миша был безусловно образованным и очень эрудированным. Выска-зывался он всегда исключительно грамотно и изысканно, желая доставить этим удовольствие и собеседнику, и, я убеждена, самому себе. Я не помню, чтобы он сказал какую-нибудь пошлость или позволил себе скабрзную двусмыс-ленность. А если кто-нибудь втягивал его в разговор на “скользкую” тему, Таль поддерживал его на уровне блиста-тельного французского дипломата.

И мне уже стало казаться, что наши отношения так и ос-танутся на таком дружеском платоническом уровне, что вро-

де бы “остальное” ни меня, ни его не очень-то интересует. Но в жизни так не бывает, если, конечно, речь идет о нормальных физически здоровых людях, а не об интеллектуальных извращениях. Его брат Яша в то время снимал квартиру и жил вне талевского дома. Однажды после какой-то светской вечеринки мы оказались с Мишей в этой квартире. Яша был в отъезде. И все произошло как само собой разумеющееся...

Миша не производил впечатление застенчивого, но и совсем уж не казался эдаким покорителем женских сердец. Он был чистым молодым человеком, почти мальчишкой... Господи! Да ему и было-то всего двадцать один. А мне? Неужели мне когда-то могло быть девятнадцать?..

Это было прекрасно! И в ту ночь, и в последующие... Описывать словами ощущения физической близости — занятие бессмысленное и безнадежное. Это тайна. Тайна, которой может владеть один или одна. Тогда это может быть хорошо. Но если тайна открывается обоим, тогда близость становится тем самым наслаждением, которое невозможно объяснить словами, отобразить на холсте или запечатлеть в самом изысканном сочетании нотных знаков... Вот так у нас было с Мишей.

Те ночи многое изменили, многое упростили, но кое-что и осложнили...

После тех ночей Миша перестал быть для меня приятелем. Возникло необъяснимое чувство принадлежности друг другу. У людей искренних такое чувство проявляется после первой физической близости. При этом у одних рождается комплекс зависимости, у других — комплекс превосходства, у третьих (к сожалению, не так часто) — ощущение взаимного равенства. Тогда “занятие любовью” (употребляю этот модный сегодня “технологический” термин умышленно, чтобы подчеркнуть его циничность и скрытое в нем безразличие) становится иным — естественной и необходимой потребностью для обоих. Я как-то сразу стала чувствовать Мишу “своим”. Не в смысле господства над ним, а кровной,

родственной связи. Никаких претензий, никаких ограничений, ненормальных просьб или, не дай Бог, требований.

Тогда ни мысли, ни даже намек на то, чтобы выйти за Мишу замуж, у меня не было. Просто я испытывала настоящий душевный комфорт, и все, что относилось к отношениям с Мишей, доставляло мне радость и удовольствие: и встречи, и иронично-церемониальные подношения цветов, и все, что могло следовать потом. Кроме цветов он мне в то время ничего не дарил. Но скупостью в течение всей последующей нашей с ним жизни Миша отмечен уж никак не был. Он был настолько тактичен и воспитан, что какие-либо более ценные материальные подношения могли, с его точки зрения, унижить женское достоинство и подчеркнуть зависимость от него. “Подставок” подобного рода Миша терпеть не мог. Ни в жизни, ни в шахматах. Прекрасно помню, что партии, выигранные им в результате зевка противника, не доставляли ему удовольствия

И вообще, мне кажется, что Таль, особенно в молодые годы, был убежден, что родился он для того, чтобы побеждать, побеждать красиво, но и безоговорочно. “От него полетят пух и перья!” – часто повторял он мне, имея в виду предстоящего шахматного противника. Любую свою победу он расценивал как закономерность: ну, а как же могло быть иначе? И меня он, видимо, расценивал как свою победу, победу, которой он добился в честной корректной борьбе, победу, о которой он мечтал и которая доставила ему огромную человеческую радость. И победа теперь должна принадлежать ему, потому что он единственный знает вкус этой победы, потому что он – Таль, потому что иначе быть не могло.

«...Талья полюбили за его исключительно остроумную, живую, веселую манеру игры, за его преданность шахматной красоте, за неустанный поиск самобытных ходов, за ошеломляющие жертвы, за импровизацию, за риск ...

...Являясь продолжателем традиций Морфи-Чигорина-Яновского-Шпильмана, он дополнил их шахматное мировоззрение важной и грозной деталью – кристально ясным пониманием неизбежности шахматного хаоса и практической невозможностью для живого индивидуума хотя бы вчерне рассчитать последствия грядущих событий.

Такое понимание хода борьбы позволяет Талю, с баснословной скоростью рассчитывая варианты, сознавать, что задача эта непосильная. И он... попросту старается объять максимум обозримо-го в минимум отпущенного кодексом времени! А вот его партнер, которого коварно втянули в водоворот осложнений, пытается просчитать все до конца. Естественно, из этого ничего не выходит. Тогда противник начинает нервничать и вследствие возникшей в его мозгу паники избирает внешне более легкий вариант, в результате же, сам того не замечая, подводит свою позицию к пропасти. Особенно много побед одержал Таль в первые годы своих триумфов, но и сейчас эта сторона его творчества не только не изучена, но даже еще и не разгадана по-настоящему».

*Д. БРОНШТЕЙН  
("64", 1969 г.)*

Но я-то не считала себя побежденной. Я оставалась прежней Салли Ландау – тогда я ощущала себя самостоятельной, гордой, популярной. Я оставалась сама собой с той лишь особенностью, что теперь рядом со мной был очень близкий мне человек, который в первую очередь понимал МЕНЯ. Мне важно было именно это, а не то, что он был гениальным шахматистом, без пяти минут чемпионом мира. Такой человек мог быть и инженером, и музыкантом. Социальный статус меня меньше всего интересовал.

А Миша искренне считал, что если ему хочется, например, есть, то и я должна умирать от голода. Если ему просто хочется пошататься по Риге, то непременно такое желание должна испытывать и я. Если он дает сеанс детям в шахматном клубе, то мне обязательно должно быть интересно при-

существовать на этом сеансе. Такое невольное, но постоянное давление стало вызывать во мне чувство протеста...

— Ты пойми, пожалуйста, я не куколка! — сказала я ему однажды, не сдержавшись.

Миша удивленно взглянул на меня и ответил с обезоруживающей талевской улыбкой:

— Я знаю, что ты не куколка. Ты просто моя Салли...

И стала накапываться, то возникая, то исчезая, тень — мы стали ссориться. Как-то он приехал к моей ближайшей подруге Инне Мандельштам и заявил ей, что я слишком много времени провожу у нее.

— Миша! — сказала я. — Я самостоятельный человек и провожу время с теми людьми, с какими пожелаю. И ты, согласись, не имеешь права устраивать скандал Инне!

— Не имею, — ответил Таль. — Я извинюсь перед ней. Но она отнимает у меня мою Салли...

Он извинился. Мир был восстановлен. Наша принадлежность друг другу оказалась сильнее принадлежности самим себе. Наверное, это и есть те самые сладкие муки, которые отличают любовь...

Но по гороскопу мы оба — стопроцентные “скорпионы”, и нетрудно себе представить, что это за наказание!.. Мы снова поссорились — на этот раз по поводу того, что отказалась остаться с ним, а захотела выспаться одна, у себя в квартире, вернее, в квартире у Аманды Михайловны — моей хозяйки. Я была очень уставшей и хотела выспаться перед завтрашним утренним спектаклем... Во время вспышки той ужасной ссоры лицо его вдруг исказилось — стало не его, каким-то чужим и пугающим, будто в Мишу вселился демон. Он ударил меня и убежал... Когда мы спустя некоторое время, конечно же, опять помирились, он не смог логично объяснить свой поступок, из-за которого готов был провалиться сквозь землю. Он говорил, что в тот момент вдруг перестал владеть собой, что был абсолютно парализован и ударил меня помимо своей воли. И потом он сказал: “Если когда-нибудь я снова впаду в такое состояние, обними меня и поцелуй. Потому что я в твоей власти больше, чем в чьей-либо...”

Позднее в этом смысле я стала полной его заложницей. Но тема замужества еще не начала звучать в нашем дуэте. Во всяком случае, я мыслей таких по-прежнему не держала, Миша на эту тему со мной тоже не говорил.

Раза три мы расставались на более длительное время, довольно серьезно. Я в этом была уверена. Как-то в ресторане в компании друзей мы занялись “выяснением отношений”, в результате Миша злоупотребил коньяком до такой степени, что наши знакомые с трудом уговорили водителя отвезти его домой. Это произвело на меня жуткое впечатление. Я никогда раньше не видела Мишу в таком состоянии. Мне опять показалось, что передо мной был не Миша, что опять в него вселился кто-то чужой. Через полтора месяца мы встретились, но никто из нас не сделал попытку вспомнить подробности происшедшего эпизода... Вообще, надо сказать, Таль и алкоголь — любимый конек не очень далеких, но беспредельно “раскованных” журналистов и некоторых из компании так называемых друзей Миши... Это — особый разговор.

Мне было непросто с Мишей, и я себя часто спрашивала: “Салли, что происходит? Где твоя независимость? Подозревать, ревновать, накидывать не тебя узду нет никаких оснований. Так в чем же дело? Почему после каждой очередной сцены ты уходишь, убеждая себя в том, что обратного хода с твоей стороны больше не будет, а через какой-то промежуток времени с радостью откликаешься на первый же примирительный звонок, жест, слово и летишь к нему навстречу, как ни в чем не бывало?”

И всякий раз я не могла дать себе вразумительного ответа ни на один из вопросов. Видимо, моя гордость не позволяла признаться в том, что я уже “ранена” Мишей... А может быть, я этого еще не понимала. Однако, так или иначе, но меня тянуло к нему, к его взгляду, которым он накалывал меня, как бабочку на булавку, к его незаурядности, к его парадоксальным высказываниям, к его голосу... И не только к голосу... И опять возникала, если можно применить такое сло-

восочетание, безумная идиллия нежности и страстей, которая заканчивалась очередной, но, тем не менее, непредсказуемой ссорой.

Так, однажды утром после нежнейшей ночи он вдруг закрыл дверь на ключ и сказал, что не отпустит меня на репетицию, что не хочет, чтобы я больше работала в театре. Когда я поняла, что Миша не шутит, резко сказала ему, что если он немедленно не выпустит меня, то это будет по-настоящему последним днем наших взаимоотношений, потому что для меня нет ничего важнее личной свободы и моей работы в театре. Я сказала с такой жесткостью и с такой уверенностью, что он покорно протянул мне ключ и произнес с какой-то отрешенностью в голосе: “Ты серьезно?” “Аб-со-лют-но!” — отчеканила я. Тогда произошло нечто странное: он подошел к аптечке, достал оттуда горсть таблеток и сказал: “Если ты уйдешь, я выпью все эти таблетки, а если они не сработают, то выброшусь из окна”. Я подошла к нему, забрала таблетки и сказала очень сухо: “Если бы эта сцена произошла в моей квартире, то я бы тебя просто выставила”. На что он ответил: “Напряги свое актерское воображение и представь, что ты у себя в квартире”. И я ответила: “Тогда покинь ее и забудь навсегда мой адрес! А ключ я оставлю под половиком”. И он ушел. Я слышала, как он сбегал по лестнице, как хлопнула дверь в подъезде. Подошла к окну и увидела, что он остановил первую попавшуюся машину... Потом я поехала в театр и сказала себе, что на сей раз действительно — конец. С моим характером мне бывает трудно понять, кто виноват, кто прав...

Репетиции в театре шли полным ходом. Приближались гастроли в Вильнюсе, и я, как могла, торопила день отъезда. Я хотела, чтобы время разрешило все мои проблемы, тем более что Таль должен был ехать на турнир в Швейцарию. Я рассуждала примитивно: он уедет на турнир, я — на гастроли. Не скоро встретимся, если вообще встретимся, и постепенно все забудется. Я кого-то встречу, он кого-то встретит... Как говорят врачи, заместительная терапия делает свое дело. Главное — не культивировать остаточный образ...



И вдруг в один из дней подходит ко мне наш администратор Григорий Ефимович, который как бы считался моим опекуном, и говорит: “Саллинька, приходил Мишин дядя и сказал, что у Миши после последней ссоры произошло нервное потрясение, какой-то ступор, что он все время лежит в постели, как каменный, ничего не ест и не пьет, что невозможно поднять у него ни руку, ни ногу... И еще он сказал, что не собирается влезать в ваши отношения с Мишей, но хотя бы ради его мамы, которая находится в страшном горе и которую Саллинька любит, он очень просит навестить Мишу и помириться с ним, чтобы он пришел в себя и смог поехать на турнир в Швейцарию”.

Я выслушала Григория Ефимовича и спросила его: “А Вы как считаете?” Он ответил, что если меня интересует его мнение, то я должна помириться с Талем, во-первых, потому что безрассудно с моей стороны терять такого человека, как Таль, а во-вторых, нельзя подвергать риску здоровье и будущее человека, который является национальной гордостью Латвии и, возможно, всего Советского Союза. Помню, я сказала: “Григорий Ефимович! Я очень ценю Ваше мнение, я очень люблю Мишину маму, но я не поеду, потому что все решила, а раз я решила, то меня не интересует карьера “национальной гордости Латвии”. А если человек болен, то пусть ему вызовут врача...”

Честно говоря, в тот момент я “сыграла” этакую властную, непримиримую женщину. На самом деле я знала, что Мишино состояние — не каприз избалованного инфанта, а самое настоящее нервное потрясение человека, который привык все делать по-своему и вдруг натолкнулся на не менее упрямое и своенравное существо. Я знала: стоит мне только появиться на улице Горького в доме номер 34, и все встанет на свои места — Миша улыбнется, глаза его оживут, и он тут же попробует пошутить и выскажет что-нибудь типа “спасение утопающих — дело рук не только самих утопающих”, и болезни как не бывало. И снова он будет веселым, легким, любящим и счастливым. Но счастливым он будет вдвойне: во-первых, потому что человек, которого он любит,

снова рядом с ним, а во-вторых, и на этот раз все вышло по-талеvски — он победил. Впрочем, не уверена. Может быть, как раз “во-вторых” тогда заняло бы у Таля первое место...

Но, как бы ни было, в тот момент я твердо решила не идти на улицу Горького. Уж если мне с ним и суждено какое-то будущее, то пусть постарается не сомневаться: перед ним не послушная марионетка, а живой человек, равный ему по всем параметрам, за исключением пола. И он, и я — как мне уже пришлось отметить выше — могли служить учебным астрологическим примером принадлежности к “скорпиону”... Несколько лет спустя Мишина мама как-то сказала мне: “Вы напоминаете мне двух упрямых непослушных зверьков, которые кусают и царапают друг дружку бесконечно, но стоит их только разлучить, каждый забивается в угол, отказывается от пищи и может умереть от тоски. Вы больше похожи на брата и сестру”... Она была очень мудрой женщиной, и дальнейшая жизнь подтвердила ее слова.

Уже много позже того, как мы официально развелись с Мишей, и у него была другая семья, и у меня была другая семья, какая-то телепатическая нить продолжала связывать нас. Я иногда просыпалась среди ночи с ощущением, что с Мишей именно сейчас произошло что-то плохое. Меня вдруг сваливал приступ моей постоянной чудовищной мигрени до такой степени, что я теряла сознание, и в этот момент откуда-нибудь из Рио-де-Жанейро раздавался телефонный звонок. И я стопроцентно знала: это звонит Миша... “Я сказал тебе не всё слова...” И мне становилось легче...

Теперь я думаю: а если бы мы с Мишей встретились не юными созданиями, а лет через десять, умудренными опытом пожившими людьми? Были бы мы более уступчивыми по отношению друг к другу? Могли бы ощутить эту таинственную биологическую взаимозависимость и избежать многих печальных ошибок, оставивших в наших душах болезненные рубцы? Наверное, да... Впрочем, думаю, из меня никогда не вышла бы хрестоматийная “шахматная жена”. Жены великих шахматистов, великих поэтов, писателей — женщины особые. Среди них есть замечательные, есть и не

очень. Дело не в этом. Просто они — отдельная категория людей, к каковой не принадлежу... Хотя, кто знает, что бы не было и что бы было?..

В общем, я через несколько дней уехала с театром на гастроли в Вильнюс, а Мишу врачи сумели поставить на ноги, и он уехал в Швейцарию, и, честно говоря, меня мало волновало, хорошо ли, плохо ли он сыграет на своем турнире. Я изо всех сил старалась вытеснить его из своей памяти, но у меня как-то не получалось, и все время было чувство досады на себя...

И вот однажды едем мы в автобусе на спектакль, со мной рядом садится наш актер Рома Векслер и вдруг говорит: “Видишь, Салли, вот ты, грубо говоря, кинула Таля, но ему это все равно, и в Швейцарии он занял первое место, а счастье было так возможно, так близко...”

“Рома! — говорю я. — Он потому и занял первое место, что я, как ты говоришь, кинула его. Он думает, что теперь, когда он такой герой, я пойму, как я ошиблась. Он Фарлаф, как и большинство мужчин! Но он ошибается, как и большинство мужчин!”

“Нет, Салли, — сказал Рома, — он не Фарлаф. Он, наверное, все же Руслан, который, как известно, искал Людмилу, и что ему Наина...”

И тут я, что называется, завелась! Я сказала, что готова спорить с Ромой на что угодно, что стоит мне только позвонить, и Таль не прибежит, а прилетит ко мне в ту же секунду. По правде сказать, я не была в этом уверена, но распалилась, и мы поспорили. Просто так поспорили...

Надо сказать, мои родители с ума сходили от того, что я поссорилась с Талем. Уж очень они хотели, чтобы я стала его женой. Особенно папа. И представляете их радость, когда я, вернувшись домой после спектакля, стала звонить в Ригу. (Миша к тому времени уже вернулся из Швейцарии.)

“Миша, — сказала я так, словно ничего между нами не произошло, — я в Вильнюсе на гастролях. Если хочешь —

приезжай”. И положила трубку. Все-таки из цепочки случайностей складывается закономерность. Кто мог знать, что Рома Векслер спровоцирует меня на абсолютно школьный спор, что я позвоню в Ригу и этот звонок в очередной раз предопределил мою судьбу, и не только мою...

Значительно позже я узнала, что у Миши была в Москве приятельница, известная пианистка Белла Давидович. Муж ее умер. У нее остался маленький ребенок. Отношения их с Мишей постепенно стали более чем дружескими. И Мишины родители ничего не имели против возможной женитьбы. Но я, помимо своей воли появившись на Мишиной “орбите”, если не сняла этот вопрос окончательно, то, во всяком случае, отодвинула его далеко-далеко.

Последняя же наша ссора как бы реанимировала не окончательно свернутые взаимоотношения, тем более что Мишины родители, как я уже говорила, очень хотели, чтобы их сын наконец повзрослел и чтобы ничего его не отвлекало от шахмат. В тот вечер после моего звонка из Вильнюса Миша влетел в комнату мамы и сказал: “Мурочка! (Так Таль называл свою маму. Он вообще любил давать ласково-шутливые прозвища.) Я собрался ехать к Белле, но только что позвонила Салли. Как ты скажешь, так я и поступлю!”

Мишина мама рассказала мне об этом через пару лет после того, как я вышла за Мишу замуж. “Доченька! — сказала она мне. — Поверь мне! Что бы я ни ответила, Мишенька все равно поехал бы в Вильнюс. Поэтому я отделалась уклончивым советом: поступай так, как подсказывает тебе твое сердце...”

Как вы можете догадаться, заметный в моей судьбе спор с Ромой Векслером я выиграла — на следующий день после моего звонка Миша был в Вильнюсе. И я, которая еще вчера считала себя остывшей, окончательно излечившейся от “талевского синдрома”, была страшно рада, что он приехал. Как будто с моей души сняли тяжелый камень...

Приезд Таля в Вильнюс вызвал двойной ажиотаж. Во-первых, в Вильнюс приехал “волшебник Таль”, а во-вторых, он приехал к Салли Ландау — к “нашей” вильнючанке! (Сты-

жусь — до сих пор не знаю, как правильно называть жительницу Вильнюса.)

Миша остановился в нашем доме, то есть в доме моих родителей. Они были счастливы — их мечта сбывалась. К нам бесконечно приходили близкие и дальние знакомые, чтобы увидеться с шахматной звездой и на следующий день хвастать: “Вчера мы были в гостях у Ландау. Там был Миша Таль. Мы с ним подружились. Удивительно талантливый мальчик и очень остроумный...”

Таль и в то время, и всегда был человеком очень общительным, легким и контактным. Он находил общий язык практически с любым собеседником, даже с тем, который ему был не очень интересен. Он был прекрасно воспитан и не мог позволить себе обидеть невниманием или высокомерием. Это его качество приводило к тому, что многие, побывавшие в его обществе всего один раз, уже записывали его в свои друзья. Так продолжалось в течение всей его жизни. Так продолжается и после его смерти — в периодической печати, на радио и телевидении вдруг появляются какие-то Мишины “друзья” и начинают рассказывать о нем порой несусветный вздор. Читать и слушать это обидно, но что поделаешь?..

Помимо домашних посиделок нас приглашали на разные приемы, вечеринки, дни рождения. Вильнюс наполнялся слухами о том, что Таль сделал предложение Салли Ландау. И надо сказать, что эти слухи были не лишены оснований...

В Вильнюсе жил тогда шахматный мастер Вистанецкис. Это был высокий, красивый, светский в полном смысле слова человек. В один из дней далекого теперь 1959 года на приеме в честь Миши он вдруг встал и предложил поднять бокал за здоровье “нашей очаровательной землячки Салли Ландау, которая выходит замуж за представителя братской прибалтийской республики”. Тут все повскакали со своих мест и стали чокаться с нами и поздравлять. Оркестр заиграл что-то торжественное... Я изумленно взглянула на Мишу, но он пожал плечами и, выпятив нижнюю губу, загадочно уставился в потолок, а потом наклонился ко мне, чмокнул в щеку и сказал негромко: “Вистанецкис — хороший мастер и вряд ли

так мог ошибиться в расчетах...” Теперь представьте мое положение. Мне-то что делать? Отрицать? Может, возмущаться? Ничего глупее нельзя придумать! Я принимала поздравления, благодарила, отшучивалась... Я убеждена, что устами Вистанецкиса Таль осуществил одну из своих рискованных победных комбинаций. Конечно, не на ровном месте. Он чувствовал, что я очень обрадована его приездом в Вильнюс, и сделал ход, разрубивший узел двусмысленности наших отношений. Я не могу сказать, что он пожертвовал чем-то ради меня. Он сделал это и для себя. Он хотел этого, потому что любил меня, потому что был уверен в том, что я его тоже люблю. Это не Вистанецкис “не мог ошибиться в расчетах”. Это не мог ошибиться Таль. Да он и не ошибался....

На следующее утро я принимала поздравления с состоявшейся накануне помолвкой, о которой уже сообщила, не помню, правда, какая, вильнюсская газета.

В Ригу мы возвратились вместе, и я решила переехать от Аманды Михайловны в театральное общежитие, так как оплата проживания у нее мне тогда была не по карману, а переезжать к Мише насовсем у меня еще не было оснований. К тому же, рассуждая о будущей семейной жизни, я думала об отдельной квартире, в которой никого не должно быть, кроме меня и Миши. Он же, наоборот, никаких других вариантов в голове не держал, кроме того, что мы обязательно должны жить у него на улице Горького вместе с Мурочкой и Джеком (так Миша называл Роберта). В тот розовый период это были, пожалуй, единственные наши разногласия. В конце концов выработался компромисс — я много времени проводила в доме Талей, часто оставалась там ночевать, но сундук с моими вещами оставался в общежитии, и номинально я жила в общежитии...

Вот теперь самое время немного рассказать о семье Талей. Я уже говорила о том, какое впечатление произвели на меня эти люди, эта квартира, когда я в первый раз переступила порог их дома. Меня поражали отношения Иды и Роберта — странный сплав простоты и изысканности. Первое

время удивляли отношения Миши и Роберта. Большой загадкой был висевший в квартире в ореоле любви и неприкасаемости портрет доктора Нехемии Талья — Мишиного отца... Ида не сразупустила меня в “кладовые” своей жизни. Она делала это постепенно и неназойливо, по мере того, как полюбила не только как предмет Мишиного обожания, но и меня — Салли как таковую, вне зависимости от моих отношений с ее сыном. И для меня она до самой своей смерти оставалась не столько матерью Миши, сколько уникальной, неповторимой, мудрейшей женщиной, моей подругой, моей матерью. Наши отношения не претерпели никаких изменений даже после того, как мы перестали быть с Мишей мужем и женой. Ее любовь ко мне по сей день возвышает меня в моих собственных глазах. Я часто вижу ее во сне. Она садится на постель, гладит мою голову и произносит фразу, которую когда-то сказала не в самый сладкий период моей жизни: “Не знаю, почему тебя так люблю... Может быть, потому, что ты понимаешь моего сына...”

В молодости у нее был бурный роман со своим двоюродным братом Нехемием Талем. Потом судьба развела их: Ида уезжает учиться в Берлин на художественные курсы, а Нехемия — в Ленинград, в медицинский институт. Она заканчивает обучение, возвращается из Берлина в Ригу и узнает, что Нехемия Таль влюбился, и влюбился до такой степени, что собирается жениться. Это явилось для нее настоящим шокom, и, чтобы заглушить душевную боль, она снова уезжает в Берлин, а оттуда в Париж. Будучи исключительно образованной, прекрасно воспитанной и необычайно привлекательной женщиной, она вливается в элитарное парижское общество, общается с Эренбургom, Луи Арагоном, Эльзой Триоле, Пикассо... Я застала ее уже не в самом молодом возрасте и, когда впервые ее увидела, поразились неправдоподобной физической сохранностью, тонкостью и изяществом фигуры и той непередаваемой гаммой флюидов, которые и делают женщину Женщиной в самом таинственном смысле этого слова... Прибавьте к сказанному густые, трудно расчесываемые волосы, пикантный орлиный нос, совершенно зе-

ленного цвета глаза, осанку, неторопливую манеру разговаривать и полнейшее отсутствие какой-либо суеты в поведении (не люблю суетливых людей!); приплюсуйте к этому какие-то еще качества, которые, с вашей точки зрения, должна иметь настоящая женщина, и перед вами возникнет Ида Таль... Кажется, Бернард Шоу сказал: “Ничто так не старит женщину, как возраст”. К Иде Таль это не относится...

После Парижа она возвращается в Ригу и снова встречается с Нехемием, теперь уже доктором Талем. Его женитьба не состоялась. Он вспоминает о своем увлечении как всего лишь о факте, имевшем место в его студенческой жизни. Их отношения с Идой приобретают совсем иное качество. Они женятся и любят друг друга так, как могут любить мудрые и тактичные люди. У них рождается сын Яша, старший брат Миши.

Яша был копией доктора Таля. Я обратила на это внимание сразу, как только впервые взглянула на тот самый портрет, что висел в квартире на улице Горького. Тогда же я увидела, что Миша чисто внешне ничего общего с портретом отца не имеет, а уж на кого он действительно похож, так это на Роберта... Прояснилось все значительно позже, когда я стала в доме Талей родным человеком, и в первую очередь, для Иды.

Доктор Таль умер за год до того, как я познакомилась с Мишей. Все, кто знал его, говорили о нем, как о святом. Да и портрет его походил на портрет святого, как бы возвышающегося над всем бранным, человека. Работал он в спецполиклинике в Риге. Знакомые врачи уверяли меня, что доктор Таль был единственным врачом-евреем, работавшим в спецполиклинике. Понять ситуацию не сложно, учитывая все нюансы национальной политики в Советском Союзе вообще и в Латвии, в частности... Тем более что Ригу не могли обойти ни охота на космополитов, ни травля “убийц в белых халатах” во времена знаменитого “дела врачей-убийц”. Но врачебный авторитет доктора Таля был столь высок, что его не тронули.

К Иде он относился с исключительным уважением. Говорят, что когда их видели вдвоем во время прогулок, он



поддерживал ее руку так, словно нес хрупкий сосуд с влагой, и не дай Бог, эта влага расплещется или, что еще страшнее, сосуд выскользнет из рук и разобьется. Сказать, что Миша его любил, значит ничего не сказать. Это было нечто большее, чем обожание... Я не нахожу слов, чтобы передать степень Мишиной любви к отцу. Ида говорила, что если бы не отец, то Миша не закончил бы ни школу, ни институт — у него не хватило бы на это усидчивости и терпения, особенно после того, как он увлекся шахматами. Кстати, к шахматам его пристрастил именно доктор Таль. Он обучил его правилам и на правах учителя сначала обыгрывал его. Это задевало самолюбие мальчика, и он сразу же и сильно пристрастился к загадочной игре, в процессе которой выигрывает не он, а папа. Я подчеркиваю это слово “папа”, потому что для Миши доктор Нехемия Таль был отцом. Единственным и безоговорочным. И в паспорте у него значилось “Таль Михаил Нехемьевич”.

Но в доме практически все годы жил еще один человек, Роберт, которого Таль тоже очень любил и называл, как вы уже заметили, Джеком. Кровным отцом Миши был Роберт. И Роберт знал, что он — отец Миши, и Миша знал, что он — сын Роберта. Тем не менее, для Миши отцом был доктор Таль, и для Роберта Миша был сыном доктора Таля. Эта тема в доме была как бы табуирована. Ее никогда не обсуждали. Друзья и близкие ее никогда не касались. Истина не требовала доказательств.

Я привожу эту неординарную коллизию со слов Иды, чтобы вы почувствовали, какими не от мира сего были люди, из среды которых вышел не укладывавшийся ни в какие рамки услóвностей Михаил Таль.

Вскоре после рождения Яши доктор Таль переносит тяжелейшее вирусное заболевание, осложнение которого приводит его к полной, не поддающейся лечению, импотенции — трагедия из числа тех, которые влекут мотивированные распады многих семей. Но семья Талей приходит к другому решению положения, и окружающим даже в голову не приходит, что в их семье произошло. При этом Ида остается молодой, деятельной, жадной до жизни женщиной.

И возникает Роберт — он приезжает из Парижа, словно очаровательный дьявол. Ида была с ним знакома во время своего французского периода. Он обаятелен, он умен и хорошо воспитан. Он — комильфо. И что ж удивительного в том, что Ида влюбляется в него. Но, возможно, такая женщина, как Ида, смогла бы побороть одностороннюю страсть. Возможно. Если бы не Роберт, который очень скоро теряет голову от Иды. А взаимное притяжение двух людей, познавших в своей жизни многое, вряд ли можно преодолеть. Да и надо ли преодолевать? И вот получается любовный треугольник. Казалось бы, банальный любовный треугольник. Однако для банального любовного треугольника еще необходимы тайные свидания, обманы, упреки, подозрения, скандалы... Но нет. Все трое сделаны из другого человеческого материала. Не нам чета! Ничто не афишируется, ничто не скрывается... Роберт появляется в доме Талей. Доктору Талю не требуются дополнительные объяснения. Таков факт, касающийся любимой женщины, и он воспринимает его достойно, по-мужски.

Говоря о семье Талей, я вспоминаю скучный роман Чернышевского “Что делать?”, который нас заставляли изучать в школе. Внешне — схожие ситуации. Но только без экзальтированных снов Веры Павловны и без нудных лопухово-кирсановских сентенций...

О Роберте известно все. Жена, с которой он развелся, и ребенок живут в Германии (забегая вперед, скажу, что вскоре они погибли в фашистском концлагере). Роберт довольно удачлив в коммерческой деятельности (опять же, забегая вперед, добавлю, что в Советской Латвии он был видной фигурой в торговле), что, однако, не спасло его от “посадки”, но это уже много лет спустя...

В 1936 году плодом любви Роберта и Иды явился Миша Таль. И все знали, что у доктора Таля и его жены Иды родился второй сын... А слухи? Да мало ли какие слухи носятся по Риге...

Миша родился очень хилым ребенком. На правой ручке недоставало двух пальцев. Ида рассказывала, что, будучи на

седьмом месяце беременности, она жила на даче, на Рижском взморье. Вторая половина лета была очень жаркой. Ближе к ночи она прилегла на низкую, едва возвышавшуюся над полом тахту и прикрылась легкой простыней. Вдруг рядом с ее лицом пробежала огромная крыса. От ужаса она потеряла сознание. Врачи стали побаиваться, не отразится ли шок на нормальном течении беременности. Когда после родов ей впервые принесли сына и распеленали его, она увидела три скрюченных пальчика на правой руке... Ее снова охватил ужас, и снова она потеряла сознание, как тогда на Рижском взморье. Кормить грудью она не могла, так как молоко отсутствовало, видимо, в результате нервного потрясения. Ее долго после этого лечили.

В возрасте шести месяцев Миша перенес тяжелую инфекцию с очень высокой температурой, судорогами и ярко выраженными менингеальными явлениями. Врач сказал, что вряд ли мальчик останется жить, но при благоприятном исходе после таких заболеваний вырастают великие люди... И вот в три года Миша начал читать, в пять он уже перемножал трехзначные числа — пока взрослые подсчитывали результат с карандашом, он называл ответ.

В семь лет он “заразился” шахматами и стал почти все время проводить в шахматном клубе, приставая к более старшим и уже взрослым шахматистам с одной просьбой — сыграть с ним партию...

...С самого раннего детства он видел в доме двух мужчин, которых очень любил. Каждого по-своему. Доктора Таля считал и называл папой, а подлинный отец — Роберт всегда оставался “Джеком”. Джек любил Мишу потому, что Миша был его сыном, и, казалось, вся жизнь Роберта состояла только из одного — беспрекословно исполнять любое Мишино желание, любую просьбу.

Роберт, пожалуй, был единственным в этой семье по-настоящему состоятельным человеком, а Миша, даже когда он стал знаменитым Талем, никогда сколько-нибудь больших денег не имел. “Тряпки”, которые он чемоданами привозил из поездок, предназначались всяким деятелям, спортивным

работникам. И они, и другие перед каждой поездкой клали ему в карман уйму разных списков, которые он должен был “отоварить” за границей. А Миша тратил деньги, не считая. Он еще очень любил угощать, делать подарки; ни у кого не брал займы. Окружающие считали его богатым человеком. Ни у кого не возникало на этот счет ни малейших сомнений. И правильно! Это же – Михаил Таль! Ведь никто не знал, что Михаил Таль, оставшись без копейки, идет на почту и шлет в Ригу телеграмму: “Джек вышли тысячу”. И на следующий день Таль снова становился богатым...

Необходимо сказать, если бы не Роберт, семья Талей вполне могла бы погибнуть в каком-нибудь гитлеровском концлагере... Рига всегда считалась “немецким” городом, с большим влиянием немецкой культуры, немецкого языка... Семья Талей говорила по-немецки... И когда началась война, Ида по наивности сказала Роберту: “Зачем нам куда-то уезжать? Мы же фактически немцы. Они нас не тронут...” Но Роберт сказал: “Немцев они не тронут, а евреев вырежут”. И он настоял, чтобы вся семья выехала в Сибирь...

Вот так они и жили в состоянии зримого душевного покоя и равновесия... Бросьте несколько камней в ручеек, и вы увидите, что вода обласкает каждый камень – большой и маленький. Ни один не останется неумытым. Таким ручейком в семье Талей, струящимся между доктором Талем и Робертом, между Яшей и Мишей, между Мишей и мной, ласкающим и сглаживающим все противоречия, безусловно, была Мишина мама... Царствие ей небесное!..

Несмотря на то, что я в этом доме бывала часто, родным для меня он спервоначалу не стал, и всякий раз, когда я приходила, когда мы ужинали все вместе и даже тогда, когда оставалась ночевать, я все-таки еще не чувствовала себя “в своей тарелке”. Я оставалась в постоянном напряжении. О замужестве разговор не заходил, хотя, вроде бы, мы и считались помолвленными. Меня это устраивало – как будет, так и будет.

И вот, когда Миша уехал на турнир в Югославию, я стала меньше бывать в его доме, после спектаклей или ночных ре-

петиций возвращалась в свою восьмиметровую комнату в общежитии. Я по-прежнему не чувствовала себя обязанной и жила сама по себе. Как обычно. В Риге в то время у меня было много друзей и знакомых.

Чаще всего я бывала в гостях у Инны Мандельштам. Это был изысканный дом, в котором собирались известные адвокаты, врачи, поэты. Стоило мне появиться, меня сразу усаживали за рояль и заставляли играть и петь часами. Впрочем, не было нужды долго меня упрашивать — в доме Инны я все делала с особым удовольствием. Интеллигентность в доме Мандельштамов не была искусственной — она была натуральной и, возможно, генетически обусловленной — отец Инны был двоюродным братом Осипа Эмильевича Мандельштама.

...Впрочем, собирались мы порой и в ресторане, нередко выезжали на взморье.

Внимание ко мне со стороны “общественности” явно удвоилось. Если мы пили кофе где-нибудь в кафе с каким-нибудь из актеров, то для “общественности” это означало одно: у меня роман. На меня обращали внимание на улице. Моей вины в этом, конечно же, не было. Наоборот, мне было приятно, что меня замечают, на меня оглядываются, со мной хотят познакомиться. Назовите мне молодую красивую женщину, которую бы это раздражало. Если такая женщина найдется, значит, у нее не все в порядке с психикой и здоровьем. У меня же все было нормально.

Сказать, что меня все появившиеся слухи сильно раздражали, не могу. Скорее они меня забавляли. Я даже порой подыгрывала, зная, что за мной наблюдают, — возьму и демонстративно положу голову на плечо моему давнему знакомому. И на следующий день уже все говорят, что у меня очередной роман. Я, можно сказать, умышленно подливала масла в огонь.

А Миши мне очень не доставало. Мне все время сообщали, как он там в Югославии играет, у кого выиграл, сколько у него очков. Но я, как уже упоминала, в этом не разбиралась. Говорили, что у него реальные шансы стать претендентом на зва-

ние чемпиона мира, на что я любила отвечать: “Мне гораздо важнее, что он претендент на звание моего мужа”.

И вот однажды утром я получила письмо из Югославии... Вообще-то Миша не любил писать письма. Он предпочитал телефонные разговоры. Не любил писать — и все. У меня сохранились всего два Мишиных письма: одно из Югославии и второе, которое я получила от него в ответ на мое письмо, где я просила у него официального развода. Интересно, что когда мы с сыном много лет спустя уезжали из Советского Союза, о чем речь будет ниже, таможенники, роясь в нашем багаже, наткнулись на эти письма и с большим интересом прочли их вслух, а потом сказали, что письма вывозу не подлежат, так как являются “историческими документами”. Гера незаметно взял у них эти письма и спрятал в нагрудный карман. Уже когда мы прошли пограничный контроль, он протянул мне письма и сказал: “Не потеряй! Это исторические документы”.

С некоторыми сокращениями привожу Мишино письмо из Загреба. Мне иногда кажется, что не было никогда того холостого безмятежного времени, что все это из какого-то давнего фильма, в котором даже и не мы играли главные роли...

“Добрый день, любимочка моя!

Наконец-то я снова получил от тебя весточку. Это ужасно — время тянется до того медленно, что просто не представляешь себе оставшихся 18-19 дней. А еще предлагают участникам турнира на неделю после турнира в Белграде выступить с сеансами. Когда мне Rogozin сказал об этом, я сообщил, что 4-го у Саллиньки (это имя уже известно!) день рождения, и я должен быть дома. Правда, там маленькие нелады с расписанием самолетов. Есть один самолет 31-го октября, но, кажется, на него я не успеваю, так как в этот же день официальное закрытие турнира. А потом прямой Белград-Львов-Москва летит только 4-го. Если придется лететь этим самолетом, то придется тебе родиться на денек (ну, всего лишь один маленький денек) позже.

А как насчет идеи – этот вечер быть в Москве?! Еще есть две возможности.

1). Есть маршрут Белград-Будапешт и потом Будапешт-Москва на ТУ-104. Когда летит этот самолет – еще неизвестно.

И 2). Я не знаю, но, возможно, во Львове смогу проститься со всей честной компанией и оттуда полететь (кстати, через Вильнюс) прямо домой. Тогда я успею как раз вовремя.

Любимый мой Салюнчик! Как ты там без меня?..

...Я никогда не подозревал, что можно так соскучиться, хотя на турнирах играл, слава Богу, уже порядочно. Моя, только моя любовь, правда? Но ничего, девочка, приеду – потом долго-долго буду дома сидеть и отдыхать с тобой. Хотя 30-го ноября в Риге начинается международный турнир “Балтийское море – море дружбы”, и, конечно, Таль должен будет сыграть там несмотря на то, что сейчас вид этих деревянных фигур вызывает во мне нехорошие позывы. Но это все другое дело – ты ведь будешь рядом, и тогда играть в шахматы будет удовольствием... А потом Новый год. Думаю, что к нему мы придем в себя и сумеем встретить, как в доброе, старое “холостое” время! Золотко мое, ты прости, что я не выполнил одного твоего указания, но мне в Загребе так понравился материал на вечернее платье (тафта), что его взял. Думаю, что тебе понравится, и будешь ты на Новый год Русалкой – князь-то все равно потонул! Да, чуть снова не забыл. Я дома просил, чтобы мне выслали заказы, размеры (особенно последние), потому что времени на покупки совсем не будет. Если тебе еще случайно не передали, то немедленно по получении письма отправь мне или, что еще скорее, позвони по телефону. Кстати, ты думаешь когда-нибудь со мной говорить? Я уже начинаю дуться.

Пора закругляться. Через полчаса последний тур в Загребе. Теперь после получения твоих любимых каракуль результат мне совершенно ясен. Как видишь, со скромностью все в большом порядке. Надо успеть отнести письмо на почту, чтобы еще сегодня полетело к моей любимой, золотой рыбе, чтобы она его скорей получила и (чем черт не шутит!), может быть, даже ответила. Не буду говорить больше о том, что я люблю, страшно люблю, не буду говорить о том, что скучаю, хочу быть вместе с этой рыженькой девочкой, не буду го-

ворить о том, что “нежной страстью, как цепью к ней прикован”, не буду говорить, вообще ничего не буду говорить! Скажу только: До скорого свидания, Саллинька любимая! Жду! (всего). Большой привет маме с папой, твоим друзьям в театре, нашим добрым знакомым.

Крепко целую тебя. Всегда твой Миша...

Миша написал это письмо сразу после того, как получил мою записку, которую я передала в Загреб с одним нашим знакомым дипломатом. Записка была коротенькая, о том, что у меня все в порядке, чтоб ни в коем случае ничего мне не покупал (девичья гордыня!), что скучаю и чтоб он скорей приезжал... И вот он извиняется в письме, что “не выполнил моего указания” и “взял” (типичное совковое словечко) мне материал на платье... Надо сказать, Миша терпеть не мог “шопинг”, но неукоснительно выполнял многочисленные заказы привести то, привезти се... Впрочем, я уже об этом говорила...

А через несколько дней после этого письма рано утром в комнатке моего общежития раздался стук. Почти не понимая, что происходит (по утрам я плохо соображаю, потому что люблю, как все артисты, вставать поздно), я открыла дверь и увидела Иду. Накануне была премьера, домой я попала глубокой ночью. Комната завалена цветами, среди которых были шикарные лилии. Окно я открыть не догадалась и “угорела” от этих лилий. Смотрю на Иду ошалелым взглядом: наверное, что-то случилось... А Ида прижала меня сонную к своей груди и сказала: “Доченька, собирайся. Я забираю тебя к нам. Навсегда...” Через мгновение появился таксист, вынес мой сундук со всем “приданым”, погрузил в машину, и я “навсегда” переехала в дом своего будущего мужа — на улицу Горького, 34... Я думаю, что такое ускорение событий произошло потому, что и до Миши, и до Иды доходили разные “нехорошие” слухи обо мне, и, видимо, после очередного Мишиного звонка семейный совет вынес решение взять меня под особый контроль...



Я всегда поражалась еще одному качеству Таля. Я подчеркиваю — Талья, потому что Мишей он был для меня, для своих близких и немногочисленных друзей. Для всех остальных он был великим, выдающимся, чемпионом, гениальным шахматистом и загадочной личностью.

Меня до сих пор удивляет этакая бесцеремонность значительной части так называемых “простых смертных”. Они просто подходят к “знаменитости” на улице, в гостинице — где угодно, и хорошо еще, если просто попросят автограф... Они задают массу, порой нескромных, вопросов, оспаривают, если “знаменитость” — шахматист, правильность сделанного в партии хода, суют какие-то листочки с собственными исследованиями в том или ином дебюте... Появляются откуда-то доверенные лица, которые с подробностями рассказывают, как они, допустим, уговаривали стюардессу впустить в самолет “вдребезги пьяного экс-чемпиона мира”, убеждая простодушных в своей собственной добродетели. Эти люди не понимают, что если гений и напивается, то он и напивается, как гений, и остается гением в любом состоянии...

Так вот, меня всегда поражали в Тале простота и наивность его взаимоотношений с такими людьми. Он мог спокойно ввязаться в шахматную дискуссию со случайным пассажиром в каком-нибудь аэропорту, и его оттаскивали силой, потому что заканчивалась посадка... Его можно было втянуть в “парковый блиц”, и никто не мог его из этого “блица” вытянуть. Даже когда начинался дождь, он просил собравшихся вокруг зевак раскрыть над доской зонтик... Он даже мог выпить на ходу со случайным человеком, если этот человек казался ему интересным.

Я не помню случая, чтобы Таль сказал что-то бестактное, грубое, чтобы мог отказать в чем-либо в обидной для человека форме... Были ли люди, о которых можно сказать, что Таль относился к ним плохо? Я таких людей не знаю. Другое дело, что он любил подшучивать, подтрунивать... И чем больше Таль любил кого-то, тем больше этому человеку от Таля “доставалось”. Он без конца, но очень по-доброму

“цеплял” своего друга и тренера Александра Кобленца. “Маэстро” (такое прозвище имел Кобленц) никогда не обижался. Он делал вид, что все Мишины “уколы” адресованы не ему, а кому-то другому... Однажды, как рассказывали, один из гроссмейстеров во время анализа сыгранной партии отпустил в адрес Кобленца какую-то язвительную шутку. “Маэстро” оторвал взгляд от доски и произнес в сторону обидчика: “А вот Таль никогда не говорит глупостей – он предпочитает отстрить. На вашем месте он бы сострил”.

Таль всегда шутил по-доброму. Если же он позволял себе по отношению к человеку что-то желчное, это означало конец взаимоотношений, и человек запоминал сказанное на всю жизнь. Но, как правило, “обиженный” был того достоин... И еще Таль не любил розыгрыши. Он считал, что по большому счету в розыгрышах заложено нечто унижающее человеческое достоинство. Когда в компании рассказывали, как кто-то кого-то разыграл, Таль всегда вскидывал брови, и выражение его лица говорило одно: “Ну, и что дальше? И это все?!”

С первых дней моего “официального” замужества я начала уговаривать Мишу переехать в отдельную квартиру, чтобы жить независимо от его домашних. Повторяю: Ида, Роберт, Яша относились ко мне прекрасно, но все-таки... Начнем с того, что Яша был мужчиной, мягко говоря, увлекающимся. Ида с Робертом делали вид, что Яшина интимная жизнь их не должна слишком интересовать. Меня же это изрядно напрягало – я усматривала в Яшином женском калейдоскопе скрытую угрозу нашим с Мишей взаимоотношениям. Нам в доме был предоставлен большой салон, в который всякий раз случайно и не случайно входили то Ида, то Яша, то Роберт; Роберт иногда чрезмерно пекся о Мишином здоровье... И еще меня в этом доме совершенно замучили юные пионеры. Представляете? Едва ли не каждый божий день, когда Миша был в Риге, они с восьми утра приходили в дом (другого времени у Миши не было), и он занимался с ними шахматами, а я делала бутерброды, поила чаем...

Я часто сама себе говорила: “Салли! Ты, безусловно, любишь детей, но не до такой же степени!”

“Мишенька, — говорила я ему, — давай переедем и будем жить отдельно. Своей семьей... Посмотри: Юра Авербах, Ботвинник, Смыслов... У них свои семьи, свои квартиры... Купим красивую мебель, повесим уютные светильники...”

Все было напрасно. Уговорить Мишу переехать не было никакой возможности. Он мог получить квартиру в Риге, ему предлагали переехать в Москву и помочь с квартирным вопросом... Нет и нет. Миша к устоявшемуся образу жизни привык, его все устраивало, он хотел, чтобы мы все жили вместе. Ему это было удобно и освобождало от проблем... Миша очень не любил проблемы — они ему, человеку, внутренне сосредоточенному, мешали, и если они возникали, искренне считал, что они должны решаться сами собой. Во всяком случае, не им. Дома же Роберт и Ида решали за него все. Особенно Роберт... Уезжает Миша в Москву, берет с собой деньги (по тем временам приличные), через неделю, к примеру, упомянутый мною выше звонок: “Джек, вышли тысячу рублей!” Роберт говорит: “Миша, мне для тебя ничего не жалко, но ты же взял с собой тысячу рублей! Где они?” “Не знаю, где, — отвечает Миша, — вышли мне тысячу рублей!” И Роберт высылал, а Миша действительно не знал, каким образом он умудрился потратить тысячу рублей... В поездках, если это было без меня, его всегда окружало несметное количество людей, разных людей — своих, чужих, случайных... Поклонницы его очень любили. Да и Миша не был закрытым женоненавистником. При этом всегда гусарил. Он любил за все и за всех платить сам. Вынимал деньги, кто-то бежал за коньяком, за сигаретами... Вместо одной бутылки приносили пять (люди щедры на чужие деньги)... Все это выпивалось, выкуривалось, раздаривалось... Вскоре следовал звонок в Ригу: “Джек! У меня кончились деньги...”

Не хотел Миша жить отдельно... Может быть, даже опасался...

Еще до замужества я обратила внимание на то, что он пригоршнями поглощает какие-то лекарственные капсулы... Вдруг побледнеет, сморщится от боли — и горсть капсул в рот... На мои вопросы, мол, что это за боли и что это за капсулы, он обычно отшучивался: “Во мне сидит контролер. Когда я на кого-нибудь засматриваюсь, он дергает меня за блуждающий нерв и говорит “внутренним голосом”: “Негодяй! У тебя же есть Саська!” Я тут же вспоминаю, что никого лучше в мире, чем Саська, нет, и в благодарность за напоминание убажваю своего контролера его любимыми капсулами”.

Врач из поликлиники, где Миша находился под наблюдением, сказал мне: “У него что-то с легкими не в порядке...” Потом выяснилось, что не в порядке у него “что-то” с почками. И никто не мог сказать, что именно. Между тем приступы боли его просто изматывали. Во время очередного такого приступа поставили диагноз “острый аппендицит”, положили на стол и ... удалили совершенно здоровый аппендикс.

Но по-настоящему я столкнулась с Мишиными проблемами во время подготовки к турниру претендентов. Тренировали его тогда маэстро Александр Кобленц и приехавший из Москвы гроссмейстер Юрий Авербах. До сих пор не могу понять, каким образом он готовился — практически ежедневно приступы чудовищных болей... Миша отказывался от еды, и если удавалось уговорить его что-нибудь съесть, то непременно с определенной дозой коньяка. Коньяк хоть как-то уменьшал боли. Часть подготовки прошла в урологической больнице, куда мы положили Мишу, несмотря на его отчаянное сопротивление... Специфические запахи и санитарное состояние этой и всех последующих урологических больниц и отделений и сейчас вызывают во мне дрожь...

Позднее знаменитый уролог Фрумкин сделал ему уникальную операцию на почке. Однако через два месяца боли возобновились с новой силой и снимались только инъекциями понтопона...

«...Русский язык он чувствует прекрасно, искать слово, лезть за ним в карман не приходится. Известно, например, что когда после лекции некто довольно бестактно спросил Талья – “Правда, что Вы морфинист?”, то ответ последовал мгновенно:

– Нет, я чигоринец!»

Я. ДАМСКИЙ

(“Рижские шахматы”, 1986 г.)

Некоторые и по сей день придерживаются мнения, что Таль был наркоманом. У меня сохранилось письмо Михаила Моисеевича Ботвинника, в котором он, беспокоясь о здоровье выдающегося шахматиста, просит меня сделать все возможное, чтобы Миша излечился от морфинизма... Михаил Моисеевич тоже поверил, что Таль страдает наркоманией. Я утверждаю совершенно ответственно: Миша не был наркоманом! У него были дикие боли, которые ничем, кроме как инъекциями морфина или понтопона, не снимались... Миша никогда не бился в истерике, требуя “иглу”, – он погибал от чудовищных болей. В такие моменты не было выбора. Он принимал несметное количество обезболивающих препаратов. Он изо всех сил сопротивлялся возможному привыканию, он боялся стать наркоманом, и он им не стал... Я убеждена, что пристрастие к коньяку и почти круглосуточное курение являлись для него альтернативой наркотикам в борьбе с беспощадной, изнуряющей, разрушающей болью. Его ненормальный ритм жизни и работы тоже был средством отвлечения от физических страданий...

Как-то Тигран Вартанович Петросян горько пошутил: “Если бы я вел такой образ жизни, как Таль, я бы давно умер. А он просто “железный Феликс”...”

Мне порой кажется, что жизнь Миши была бесконечным вращением по какой-то сатанинской орбите, где следствие становится причиной, а причина – следствием. И в центре орбиты сияла манящая звезда по имени “Шахматы”. Остановить это вращение могла только смерть.

...Вообще-то говоря, мысленно возвращаясь в те годы, я иногда думаю: а что было бы, если бы Миша не был гением, рожденным для того, чтобы переполошить консервативный шахматный мир, вдруг ворвавшись в него ослепительно яркой кометой, чтобы повергнуть шахматного сфинкса Ботвинника и еще долгие годы после этого приводить своим именем в восторг поклонников шахматной игры и людей, абсолютно далеких от нее? Что было бы, если бы Миша был обыкновенным мальчиком, в меру остроумным, в меру образованным, прилично воспитанным?.. Как бы отнеслась его семья к бурному увлечению их сына моей особой? Наверное, бесконечно любя свое чадо (это черта всех еврейских родителей), они приложили бы все усилия, чтобы “смазливая актрисочка с сомнительной репутацией” ни в коем случае не стала бы женой их чистого и наивного мальчика, который, с их точки зрения, заслуживает более интересной партии...

Но в том-то все и дело, что Миша был гением. В этом их убеждали окружающие, об этом говорили феноменальные Мишины успехи в шахматах, этим они прониклись и сами по себе, окончательно и бесповоротно. И они стали выполнять великую миссию, предназначенную им Богом. Они оказались в зависимости от собственного сына, любое желание которого, любая фантазия становились непреложным законом. Поэтому, если Миша полюбил Салли, надо приблизить Салли, надо оградить Мишу от порочащих Салли разговоров. Я думаю, что мой переезд в дом Талей был продиктован Мишей, а Ида же и Роберт неукоснительно выполнили его требование. Но как люди воспитанные они старались убедить меня в том, что любят меня не меньше, чем их сын. Другое дело, что с течением времени они по-настоящему приняли меня и полюбили, как родную дочь. И я это чувствовала даже тогда, когда семья наша распалась фактически, а потом и юридически, и даже тогда, когда у Миши возникла другая семья. Что же касается меня, то Роберта и особенно Иду я любила все годы и продолжаю любить их по сей день так, как будто они живы...

После того, как Ида перевезла меня в свою квартиру, звонки из Белграда стали раздаваться практически ежедневно и, по всей видимости, обошлись Мише в кругленькую сумму. Мне даже неловко приводить все любовные эпитеты в мой адрес, все признания в любви, высказанные мне. Наверное, в те дни можно было завидовать мне “по-черному”...

Самолета из Белграда мы ждали долго — его все не было. И никаких сообщений не было. В аэропорту Риги Таля встречало много людей. Ему готовили пышную встречу. В Югославии — все знали — он занял первое место и стал претендентом на титул чемпиона мира. Потом объявили, что прибытие самолета задерживается по техническим причинам, и Роберт отвез меня домой, так как на следующий день был утренний спектакль и надо было выспаться. Но, конечно, уснуть не смогла. Я вдруг поняла, что жду Мишиного возвращения так, как никогда раньше, за все время нашего с ним общения. И мне от этого было радостно. Я была уверена, что Миша приедет каким-то другим, обновленным, и что никогда больше не возникнут глупые, ненужные ссоры, всякий раз так опустошавшие и его, и меня. Мне казалось, что с его приездом перед нами откроется волшебная дверь в безмятежное будущее “золотым ключиком”... Это будущее виделось не конкретно, а словно в преддверном утреннем тумане, предвещающем безоблачный теплый день, с массой прекрасных приключений, от ожидания которых захватывает дух...

Миша прибыл только под утро. Оказалось, что не то кончилось горючее, не то отказали шасси. Миша, конечно, сострил, сказав, что в самолете началась паника, что летевшая из Белграда группа ортодоксальных евреев непрерывно молилась, у него самого был лишь приступ нервного хохота, ибо он был уверен, что никакая авария произойти не может, так как катастрофа очень расстроила бы его Саську плюс некому будет выиграть матч у Ботвинника... Я уже говорила, что Миша любил всем давать прозвища. Так возникла и “Саська”. Как-то он сказал мне: “У Рембрандта была Саския, а у меня будет маленькая Саския... — Саська!” С этого

момента я стала Саськой и оставалась для него таковой всю жизнь...

Миша тут же стал распаковывать чемоданы с массой всяческих подарков и обязательных “списочных шмоток”, предназначавшихся самым разным людям. Квартира мгновенно превратилась в склад фирменных вещей. Но что интересно — среди многочисленных рубашек, “болоньевых” плащей, диковинных в то время колготок, обуви, лекарств не было практически ничего, что бы он привез себе, кроме пачки шахматных журналов.

Миша потом много бывал за границей. Он привозил распухшие чемоданы, содержимое которых неизменно предназначалось другим. Причем ничего не продавалось, между тем как в те времена торговля привозимыми заграничными вещами была серьезной статьёй доходов для людей, выезжавших за рубеж. Все привезенное раздавалось, дарилось, преподносилось, а я должна была бегать по рижским “комкам” и покупать Мише башмаки, рубашки, костюмы...

В жизни не встречала другого такого человека, которому бы столь безразлична была собственная внешность. Он забывал стричь ногти (какой там маникюр!), и мне приходилось отлавливать его для осуществления этой серьезной процедуры. (Кстати, для нашего сына та же самая процедура стала наследственной “трагедией”.) Бывало, я насильно загоняла Мишу в ванную. “Делала” воду, добавляя пенистый шампунь, а он беспомощно стоял, глядя на сугроб из пены, и спрашивал: “В какой последовательности я должен мыться?” По-моему, единственным его удовольствием в ванной было собственное исполнение перед зеркалом оперных арий, которых он знал огромное количество. Ида часто повторяла: “Доченька! Ты видишь, какой наш Миша неземной? Он может десять дней не мыться, но как он изумительно пахнет!” Ида, конечно, говорила фигурально, но у Миши, действительно, был свой, неповторимый, “неземной” запах...

В общем, Миша вернулся из Югославии возбужденный, счастливый, какой-то “летающий”. И буквально через два дня говорит мне как бы между прочим: “Саська, давай пода-



дим документы в загс. Они будут полгода или сколько там проложено рассматриваться... Тебе достаточно этого времени, чтобы проверить свои чувства?” Сказал это явно ерничая, с акцентом на “проверить свои чувства”. Тогда я спросила его, используя шахматную терминологию, “не ошибается ли он в расчетах”. Он ответил, что ошибиться в расчетах можно только, если брак — по расчету. И тут же рассказал мне анекдот: “Скажите, Рабинович, Вы женились по любви или по расчету?” Рабинович отвечает: “Судя по всему — по любви, потому что денег не дали...”

И я опять испугалась. Я опять испугалась за потерю своей самостоятельности. Боялась, что, став официальной женой Таля, вынуждена буду уйти из театра, потеряю свободу и превращусь в ту самую “нормальную шахматную жену”... Сказала: “А куда мы торопимся? Пусть закончится матч с Ботвинником, и тогда подадим документы”. На это Миша отшутился: “Понимаю. Ты хочешь выйти замуж за чемпиона мира, а не за претендента”.

Вечером того же дня ко мне подошла Ида. “Доченька! — сказала она. — Это же матч на первенство мира! Зачем делать так, чтобы Миша перед матчем переживал? Подайте документы, а после матча, если ты передумаешь, забереешь их обратно. Мы же цивилизованные люди...” И я согласилась.

«...Я видел несколько “дней рождения” чемпионов мира по шахматам: видел трагедию Алехина и триумф Эйве, возвращение на шахматный трон А. Алехина, видел, как надевают лавровые венки Ботвиннику, Смыслову и снова Ботвиннику. Но день 7 мая 1960 года мне запомнится особенно. Такого ликования я еще не видел. Оказывается, стать чемпионом мира по шахматам просто жизненно опасно.

В этот самый счастливый момент жизни Талк хотелось обнять свою мать, свою молодую супругу, но разве жестокие фотокорреспонденты, кинооператоры дадут возможность пройти к родным?

..“Хочу домой”, – мечтает измученный и усталый Таль. С большим трудом ему удастся прорвать блокаду тысячной толпы и сесть в машину. А. Кобленц, секундант Таля, также счастлив. Отложенных партий больше нет, но забот не убавилось: надо охранять Таля от слишком страстных болельщиков. Все это происходит в Москве. Спрашивается: чего, собственно, так уж сильно радоваться москвичам? Шахматная Москва осиротела, и резиденцией чемпиона стала Рига. Но если Талю в Москве на каждом шагу устраивают овацию, то легко догадаться, каково ему будет при встрече в Риге. Говорят, что Таль вернется в Ригу инкогнито, чтобы избежать риска быть растерзанным в порыве радости. К многочисленным прозвищам Таля, вроде “ракета”, “волшебник”, прибавился почетный титул: чемпион мира. Михаил Таль побил все рекорды. В 23-летнем возрасте “не полагается” быть чемпионом мира. Хорошо известно, что знаменитый Э. Ласкер завоевал первенство мира в 26 лет, а другие чемпионы значительно позже. А. Алехин, например, в 35 лет. Таль побил рекорд Ласкера по возрасту. Сумеет ли он побить и другой его рекорд – продолжительности владения шахматной короной? На этот вопрос мы получим первый ответ в матч-реванше с Ботвинником, если экс-чемпион мира воспользуется правом вызвать Таля.

...Мише Талю за последние годы поют дифирамбы. В эти дни у него есть достаточная возможность зазнаться. Но Таль не из той породы. Даже в роли шахматного премьера он остается тем же вежливым, остроумным, скромным и обаятельным человеком.

...Счастливая мама Таля говорит: “Если Миша и чемпион мира, для меня он останется ребенком...”

*Сало ФЛОР  
 (“Огонек”, 1960 г.)*

..В тот же день вечером Миша звонит в Москву и разговаривает с каким-то Гришей. Слышу, как он просит его срочно приехать в Ригу, чтобы сделать фотографии, потому что “мы с Саськой решили подать документы в загс”. Я, естественно, интересуюсь, кто такой Гриша и зачем непременно фотографироваться при подаче заявления в загс. Миша

говорит, что он обращался не просто к “какому-то Грише”, а к своему другу Григорию Тейтельбауму — выдающемуся фотографу, который работает в журнале “Советский Союз”. Помню, я сказала: “Ты хочешь, чтобы об “историческом моменте” узнал весь Советский Союз?” “Не весь Советский Союз, — ответил Миша, — а только его читатели...”

Через день мы пошли в загс. С утра Миша начал “нафуфыриваться”, что было ему абсолютно не свойственно: надел черный костюм, белую нейлоновую рубашку (“писк” тогдашней моды), галстук... Мне это кажется лишним, но я никак не реагирую и, наоборот, надеваю подчеркнуто скромную серенькую юбочку и простенькую шерстяную кофточку. Миша говорит: “Саська, не забудь паспорт. У нас могут потребовать паспорт”. Ладно, думаю, паспорт так паспорт. С нами идет Гриша Тейтельбаум, который утром приехал из Москвы и на вокзале в Риге купил три белые роскошные хризантемы... Кто бывал в Риге, тот знает, что на вокзале и на знаменитом Рижском крытом рынке, что рядом с вокзалом, всегда продавались великолепные цветы. Вообще к цветам у рижан всегда было особое отношение...

И вот мы втроем входим в загс. А я только думаю: “Если Гриша купил цветы для меня, то почему он мне их не дарит?” Нас встречает милая пожилая женщина, и Миша ей говорит: “Скажите, пожалуйста, а директор загса у себя?” “Да, — отвечает женщина, — он в кабинете”. “Скажите ему, — говорит Миша, — что с ним хочет поговорить Михаил Таль”. Женщина уходит, а я спрашиваю: “С каких это пор заявления в загс надо отдавать директору?” Миша отвечает: “Для верности — вдруг сегодня не приемный день... А когда директор узнает, что с ним хочет поговорить Таль, он не откажет”. В этот момент возвращается женщина — сама любезность. “Товарищ директор помнит, что Вы ему звонили, и ждет Вас с самого утра...” Смотрю на Мишу и вижу, что он как-то растерялся... “Саська, — говорит он, — разве мы звонили товарищу директору?” “Я не звонила”. “Гриша! Может быть, ты звонил?” — обращается он к Грише и делает ему

глазами какие-то знаки. “Да! Я вспомнил, — реагирует Гриша. — Это я звонил ему... Вчера... Из Москвы!” Чувствую, что происходит что-то не то, но что именно, не понимаю. Вдруг Миша забирает мой паспорт и быстро проникает в кабинет директора... Не проходит и пяти минут, как появляется сияющий директор. За его спиной прячется Миша. “Боже! Какая красotka! — восклицает директор. — Поздравляю вас с законным браком!”... Я столбенею. Миша смотрит на меня влюбленными глазами, и на лице такое выражение, какое бывает у ребенка, когда он сделал любимой маме потрясающий, с его точки зрения, неожиданный подарок... А директор продолжает ухаживать: “Чью фамилию будете носить? Свою или мужа?” Как услышала слово “муж”, так чуть в обморок не упала...

Я понимала, что все это должно было произойти, но ведь мы шли только лишь подать заявление... Возникают Идины слова: “Доченька, а если ты передумаешь, то через три месяца забереешь заявление обратно...” И вдруг это слово “муж”! Чужое какое-то, деревянное... В это время Гриша быстренько вручает мне три белые хризантемы и целует в щеку... Я не нахожу ничего лучшего и совершенно некстати “острую”: “Белые хризантемы кладут в гроб...” А радостный директор кричит: “Именно! Отныне он хоронит Вас для других мужчин и оставляет жить только для мужа!”

Тут они подхватывают меня под белы ручки и влекут в комнату, в которой стоит стол, покрытый нарядной скатертью, на столе — фантастические “длинноногие” розы, шампанское, фрукты, конфеты. Директор разливает шампанское, что-то произносит про вечное счастье, про потомство... Все чокаются, я “на нервной почве” выпиваю бокал, потом сразу второй — лишь после этого до меня доходит с абсолютной ясностью: свершилось. Прощай, Салли Ландау! Здравствуйте, гражданка Таль...

И тут я думаю: а почему я должна обязательно носить Мишину фамилию? Чем моя хуже?... По наивности мне казалось, что моя собственная фамилия сохранит мою самостоятельность... Говорю директору: “Вы спрашивали, ка-

кую фамилию я собираюсь носить после замужества...” Но Миша меня перебивает: “Конечно, мою!” “Мы в этом не сомневались!” — говорит обезумевший от счастья директор и протягивает мне мой паспорт, в котором я отчетливо вижу: “ТАЛЬ”.

В такси по дороге домой успокоилась: в конце концов все нормально, все правильно и все прекрасно. Я люблю Мишу, Миша любит меня... Вот только зачем было таким театральным способом ускорять момент так называемого “сочетания законным браком”? Миша словно прочитал мои мысли. Он поцеловал меня и сказал: “Пойми, Саська, после сегодняшнего дня я абсолютно не сомневаюсь, что разнесу Михаила Моисеевича до основания... а затем (тут он запел из “Интернационала”) “мы наш, мы новый мир построим — кто был ничем, тот станет всем...” Самое смешное, что водитель — преклонного возраста латыш (может быть, из латышских стрелков?) подхватил зычным голосом: “Это есть наш последний и решительный бой...”

Под звуки партийного гимна мы подъехали к дому. Дверь нам открыла Ида, и Миша сказал: “Мурочка! А Саська — моя жена!” Вечером мы сидели за столом в небольшом кругу: Миша и я, Ида, Роберт, Яша со своей пассивной, Гриша... Потом подошли еще разные знакомые... До сих пор тот семейный ужин я считаю нашей свадьбой. В течение последующих дней Рига воспринимала нашу женитьбу как свершившийся факт...

Люди всегда проще воспринимают даже самые крупные события и катаклизмы, если все это происходит не с ними. Одно дело — зритель, другое дело — участник. Само собой, начались всякие суды-пересуды, сплетни, вымыслы... Говорили, что я вышла за Таля замуж, будучи на шестом месяце беременности, что у него вроде бы не было уже выхода... Говорили, что и беременна-то я не от него... Говорили, что, наоборот, Таль заставил меня выйти замуж под угрозой убить, если будет не так, как он хочет... Черт знает, что еще болтали. Но если кого-то вся эта чушь и волновала, то только, конечно, не меня. Анонимными и неанонимными звон-

ками мучили Иду, Роберта, Яшу, и первое время они относились ко мне с напряжением и настороженностью. Мишин дядя был одним из немногих, кто не придавал этим рассказам ни малейшего значения. Я как-то случайно стала свидетельницей его разговора с Идой, когда он объективно и даже лестно говорил обо мне.

Я же оказалась, как говорят, в “эпицентре землетрясения”. Замужество меня потрянуло как следует и довольно быстро перевела из молоденьких девочек в “солидные” жены с целым рядом приятных и не очень приятных обязанностей. Все мои сомнения отпали сами собой под натиском охватившей меня какой-то неистовой страсти. Путы условностей больше не сдерживали ни меня, ни Мишу.

Мы наслаждались нашим новым качеством мужа и жены. Я полюбила его безоглядно и стала считать своим... частью себя. Во мне проснулась неведомая раньше ревность, и я начала реагировать на все то, что раньше как бы меня не касалось. Во мне проснулся мой “скорпион” — Миша должен принадлежать только мне и больше никому — ни Латвии, ни Советскому Союзу, ни родителям, ни, конечно же, другим женщинам. Ему часто звонила из Югославии Милунка Лазаревич — талантливая шахматистка и, как я выяснила позднее, очаровательная молодая женщина. Они с Мишей болтали на свои шахматные темы, Миша сыпал бесконечным количеством каких-то вариантов на “птичьем” языке шахматной нотации, прокладывая этот диалог экспортными остротами и изящными комплиментами, на которые он был тоже “гроссмейстер”. А я не спала ночи, терзаемая подозрениями... Но и Миша был “скорпион”, и все должно было подчиняться и принадлежать ему.

Со временем я поняла всю справедливость поговорки “Нашла коса на камень”. Или еще, как в одном из стихотворений Цветаевой:

Не суждено, чтобы сильный с сильным  
Соединились бы в мире сем...

Это стало впоследствии извечной причиной наших раз-  
молвок.

У меня не было ни физической, ни, тем более, мо-  
ральной потребности в измене. Я не могла также подумать  
и о том, что такая потребность может быть у него. Но я  
знала одно: если это с его стороны произойдет, я это сделаю  
дважды... Просто от отчаяния и унижения. Не могу сказать,  
что данное качество моего характера облегчало существо-  
вание, но такой уж родилась...

Миша был предметом моего обожания и восхищения. Я  
зачарованно слушала его. Он говорил образно, легко, углуб-  
ляясь во все новые подробности, не упуская при этом главную  
нить сюжета. Это было похоже на перебор вариантов во время  
обдумывания очередного шахматного хода... Правда, приве-  
денное сравнение возникло у меня позже. Я часто ходила на  
его лекции. Он мог говорить два часа, три... А я слушала и слу-  
шала, и мне даже казалось иногда, что понимаю преимущест-  
ва шевенингенского варианта в сравнении с вариантом “дра-  
кона”. Я никогда не видела, чтобы он готовился к лекции.  
Бывало, что иногда говорила ему: “Мишенька! Возьми каран-  
даш, хотя бы набросай план – тебе же предстоит трехчасовая  
лекция!” На это он мне отвечал: “Саська! Я с тобой разговари-  
ваю целыми днями, но не беру же карандаш и не составляю  
план нашего разговора. Я не писатель, Саська, чтобы излагать  
свои мысли на бумаге, и не актер, чтобы потом выученные  
мысли произносить вслух. Я – говоритель... Не громко-, но  
говоритель”.

«...Десятки раз вместо того, чтобы лезть за справкой в  
шахматную периодику полувековой давности, я снимал трубку и звонил  
в Ригу, и Таль мгновенно называл полтора десятка ходов, встре-  
тившихся, например, в какой-нибудь партии чемпионата страны  
1939 года...»

*Я. ДАМСКИЙ*

*(“Рижские шахматы”, 1986 г.)*

Таль был фантастическим эрудитом в литературе, в истории, в музыке... Он любил играть на пианино и играл прекрасно, играл своими “тремя пальцами” (!). Он особенно любил играть Шопена, но обожаемого Рахманинова играть не осмеливался. А мне льстил: “Саська – самый крупный рахманиновед и рахманинофил...” Когда после окончания матча с Ботвинником в честь Миши был дан большой концерт, Беллочка Давидович спросила его: “Миша, что тебе сыграть?” От ответил: “Рахманинова... Но только не хуже, чем это делает Саська”. Мне, конечно, отраднo было об этом узнать, хотя исполнителем я была “несколько” хуже, чем Белла Давидович...

При случае он постоянно просил меня играть Рахманинова. И я играла... С особенным настроением – “Элегию”...

На Мишиных похоронах исполняли Рахманинова, и мне казалось, что земля уходит у меня из-под ног... Эта музыка звучит в течение всей моей жизни и, как мне кажется сегодня, является Мишиным и моим божественным и прекрасным роком...

У Миши была феноменальная память. Мы с ним иногда соревновались. У меня тоже была прекрасная память, актерская профессиональная память. Я могла прочитать незнакомое стихотворение, закрыть книгу и выпалить его наизусть. Миша тоже брал незнакомое стихотворение, но если на развороте таких стихотворений было три, он запоминал сразу все три... Он за ночь мог “проглотить” целую книгу, а иногда и две, хотя никакими специальными методами быстрого чтения, разумеется, не владел.

Безусловно, во всем, что он делал, была артистичность... Мы никогда на эту тему с ним не говорили, но мне кажется, что где-то в глубине души он хотел бы быть артистом, покорителем зрительских сердец, хозяином зрительного зала. Он невероятно любил аудиторию, он преображался, когда видел, что его слушают, что ловят каждое его слово, и зачастую он ненавязчиво, по-талевски тактично, но тем не менее нет-нет да и подкидывал некий подтекст, прекрасно понимая, что играет на публику... Даже не играет, а подыгрывает, сам



получая удовольствие от того, что попал в точку и вызвал ответную реакцию...

Мишин ритм жизни был для меня абсолютно непосильным, я его не выдерживала. Если пыталась за ним поспевать, у меня все валилось из рук: забывала самые простые вещи, могла юбку надеть наизнанку, туфл и поставить так, что потом не найдешь... Миша всего этого не замечал, а тактичный Роберт незаметно появлялся рядом и тихо говорил, как бы и не мне, а в пустоту, глядя в окно: “Саллинька, ты надела юбку швами наружу. Если так модно, то считай, что я ничего не говорил...” В эти моменты я себе очень не нравилась. Дело кончалось чудовишной мигренью, которая, кстати, продолжает мучать меня по сей день... В общем, я за Мишей не поспевала. Я только дивилась его бешеной энергии и тогда, когда он был молодым, и тогда, когда ему было пятьдесят и в его организме не было ни одного живого места...

Необычайной мощности талант Таля с наибольшей силой проявлял себя в его глазах, в его взгляде.

Особенно отчетливо это обнаруживалось, когда весь он погружался в шахматное творчество.

Многие – и участники турниров, и болельщики, – когда Таль демоническим взглядом окидывал шахматную доску, ощущали, как под его взглядом свои фигуры будто физически заряжались его энергией, а если взгляд Таля испепелял фигуру противника, то казалось, что та наяву, вот-вот, разом, вспыхнет...

Период подготовки к первому матчу с Ботвинником остался в моей памяти как какой-то бесконечный день в клубах табачного дыма, сквозь который прослеживались два силуэта, непрерывно передвигающие фигуры на шахматной доске и время от времени делающие пометки в тетради. Я ложилась спать, а Миша с Кобленцем продолжали двигать деревянные фигурки. Я вставала, а они сидели в тех же позах и двигали деревянные фигурки... Миша – небритый, неумытый, непричесанный, уже тогда с неизменным “Кентом” в зубах, и Кобленц – подтянутый, аккуратно одетый, совер-

шенно европейского вида (когда он успевал одеваться, бриться, до сих пор ума не приложу!).

Каюсь, курить Мишу “научила” я. Раньше он не выносил табачного дыма и выгонял из комнаты Роберта, если тот при нем закуривал (а курил Роберт очень много). А я начала курить “по необходимости”. Моя героиня в какой-то современной пьесе по роли должна была курить. Я вынуждена была “репетировать” курение и однажды, затянувшись на сцене как следует, почувствовала сильное головокружение, “поплыла” и почти свалилась в оркестровую яму... Но постепенно привыкла, очень много курила и даже сейчас позволяю себе эту “роскошь”, но только перед сном. Миша не захотел от меня отставать и тоже пристрастился... В конце концов зажигалка стала ему необходимой только для того, чтобы закурить первую сигарету — все остальные он прикуривал одну от другой...

Я не очень влезала в детали предстоящего матча, потому что все равно ничего бы не поняла, но в разговорах слышала о каких-то условиях, которые вроде бы выставлял Ботвинник... Миша к этим разговорам относился иронично, с позиции неопровержимого победителя, принимающего любые условия, и однажды заметил: “Даже если Михаил Моисеевич предложит самый экстравагантный вариант, я соглашусь. Во-первых, потому, что это Ботвинник, а во-вторых, потому что я все равно его сокрушу...”

На матч в Москву мы приехали всей семьей и поселились в гостинице “Москва”. Во время матча я столкнулась с проблемой, которой раньше не придавала особого значения: подсунули нам под дверь какой-то гадкий стишок, где говорилось о том, что вот, дескать, два еврея играют во славу русского народа. На меня это произвело гнетущее впечатление, а Миша отшутился: “Что поделаешь, если в матче могут играть только двое...” Вообще, надо сказать, национальный вопрос его интересовал мало, а может быть, он умышленно обходил его стороной, не желая портить себе нервы...

Но, скорее всего, Таль действительно полагал себя человеком без определенной национальности, шахматистом, принадлежащим всему миру. И все же родиной своей он считал Советский Союз. Алик Бах рассказывал, что как-то по телефону он разговаривал с Мишей незадолго до его смерти — он лежал тогда в больнице в Германии, — и Миша под конец разговора вдруг сказал: “Забрал бы ты меня отсюда — хочу умереть на родине”...

Тот матч Миша выиграл легко и непринужденно, ни на момент не сомневаясь в победном для себя исходе. Во всяком случае, мне, ничего не понимающей в шахматах, так казалось. На закрытие приехал из Вильнюса мой отец. Помню, когда Мишу увенчали лавровым венком, я сказала Иде: “Ему очень идет лавровый венок, но, по-моему, он ему велик”. Отец услышал и заметил, может быть, несправедливо: “Венок, конечно, заказывали на Ботвинника и не успели примерить к Талю...”

Был большой концерт, в котором, как я уже говорила, Беллочка Давидович играла Рахманинова...

Помню, что во время всего матча меня больше интересовал не результат, а несметное количество совершенно беспардонных звонков в наш номер. Звонили в основном какие-то девицы... Причем ни тебе “здравствуйте”, ни “извините”, а сразу: “Мишу попросите к телефону!” Миша игриво с ними разговаривал, шутил, я же умирала от ревности... Поделилась об этом с Идой. Она поцеловала меня и сказала: “Девочка! У него должны быть поклонницы. Во-первых, он — Таль, а во-вторых, посмотри, какой он красивый!”

Миша и вправду в те годы нравился девушкам, а уж когда он открывал рот и начинал говорить, они и вовсе обезумевали... Но мне-то не легче! Я ревновала как ненормальная и, к сожалению, как выяснилось позже, не напрасно... Но об этом дальше...

После концерта мы буквально сбежали из театра им. Пушкина, через черный ход, иначе Мишу просто бы

“растерзали” поклонники и поклонницы. И уж не знаю, как во всем Советском Союзе, но в Москве, мне показалось, огромное большинство болело за Мишу.

Приехали мы в Ригу поездом. Что творилось на вокзале, передать трудно. Кадры кинохроники, в которых восторженные рижане на руках несут “Волгу” с сидящим в ней радостным и смущенным Мишей, обошли весь мир...

Не заезжая домой, он поехал на кладбище, на могилу доктора Нехемии Таля, отчество которого носил...

Почти тут же после матча у Миши начались дикие боли, страшные приступы, которые не давали ему покоя ни днем, ни ночью. Он горстями принимал обезболивающие капсулы, но и они, и инъекции приносили лишь временное облегчение. Врачи и тогда, и позже разводили руками и говорили, что у него “что-то с почками”.

И со мной стали происходить какие-то непонятные явления: меня стало тошнить, появилась сонливость, еще разные странности... Теперь-то я знаю, что это был токсикоз беременности, а тогда я целыми днями валялась в постели, и Ида не знала, что со мной делать. Я считала, что у меня неладно с сердцем... Наконец Роберт настоял, чтобы я пошла к гинекологу. Тот осмотрел меня и говорит: “Ну, кого вы, милочка, ждете? Мальчика или девочку?” “Никого”, — говорю. А он мне: “Напрасно, милочка. У вас уже недель двенадцать, с чем вас и поздравляю”.

В те дни Мише стало полегче, и они с Идой поехали отдыхать на юг. Они хотели, чтобы я поехала с ними, но, во-первых, была занята в театре, а во-вторых, чувствовала себя довольно скверно. Кстати сказать, идею “вызволить” меня из театра ни Миша, ни Ида, ни Роберт никогда не оставляли. Но я твердо стояла на своем: я актриса и я буду работать в театре... Роберт, используя свои связи в ЦК Компартии Латвии, пытался даже надавить на руководство театра, чтобы меня уволили, но я была все-таки хорошей актрисой, и уволить меня было не так-то просто...

Перед самым отъездом на юг Миша вдруг заявил мне с невинной улыбкой, что я не хочу с ними ехать только потому, что в их отсутствие мне будет легче ему изменять (!). То не была шутка. Я это видела и посчитала себя оскорбленной, но ничего лучше не придумала, чем сказать, что если бы я поехала с ним на юг, он все равно находил бы возможность “путаться со своими поклонницами”. Я ревновала его, а он ревновал меня. Но ревновал по-другому: и он, и Ида, и Роберт искренне были убеждены, что я Мишина́ собственность, а он принадлежит всем. Я же считала, что мы — на равных: я принадлежу только ему, а он принадлежит только мне... Но коса не затупилась, а камень не раскрошился — он с Идой уехал на юг, а я осталась в Риге... Спустя много лет Ида призналась мне: “Доченька! Не было дня, чтобы мне не звонили разные знакомые и незнакомые и не корили тебя... Прости меня, но я порой думала, что это правда...”

Сколько же злости в людях! Одна актриса, работавшая с моими родителями в театре, с которой я даже не была знакома, уехав еще в 56-м году из Литвы в Польшу, узнав, что я стала Мишиной женой, написала из Польши письмо Иде (с ней она тоже не была знакома), в котором “уведомила”, что “ваша невесточка — обыкновенная уличная девка”. И Миша то письмо тоже прочитал...

Мальчишество взяло верх — он, судя по всему, решил, что имеет право мне “отомстить”... К сожалению, в жизни нельзя взять ход назад и продолжать партию “с того самого места”. Впрочем, может, так и должно быть.

Я сказала Мише и Иде о своей беременности, когда они вернулись с юга, хотя не обязательно было об этом говорить — все просматривалось невооруженным взглядом. Миша воспринял известие так легко, словно я сообщила ему, что в его отсутствие купила ему новые ботинки: “Саська, ты такая умница! Я люблю тебя еще больше!” Он еще не созрел для отцовства....

Я, конечно, не утверждаю, что была сама в тот момент готова к материнству на все сто процентов, но родительский

инстинкт, как мне кажется, у женщин проявляется раньше и в течение всей жизни остается более стойким. Я уже пыталась представить себя кормящей матерью, уже переживала за моего еще не родившегося ребенка — боялась, что он вдруг заболит чем-то тяжелым, что его вдруг заберут в больницу на операцию... Опасалась, что непонятные Мишины боли передадутся сыну (я почему-то убеждена была, что родится именно сын) по наследству... Короче говоря, я постепенно формировалась в настоящую “еврейскую маму”... Приплюсуйте к этому бессонные ночи на почве ревности, и мое состояние не покажется вам легким и безмятежным...

Я стала обращать внимание на то, что Миша что-то чаще, чем обычно, стал отлучаться в шахматный клуб. Причем в самое разное, порой не клубное время... Я, конечно же, не оставила это без внимания. Миша посмотрел на меня с бессмысленной улыбкой, пытаясь найти более или менее логичный ответ. Но врун из него был никудышный — он поцеловал меня и наивно сказал: “Понимаешь, Саська, мне надо сделать кучу телефонных звонков в разные места, а мой голос может тебя раздражать. Не могу же я мою Саську, которая вынашивает нашего ребенка, подвергать зверским пыткам...” Я сделала вид, что его ответ меня полностью удовлетворил. Он мне поверил — я-то была все-таки неплохой артисткой. И он с таким облегчением и с такой радостью удалялся в шахматный клуб, что было абсолютно ясно: “куча телефонных звонков” будет сделана не в разные места, а в одно-единственное место...

Я вспоминала его телефонные бомбардировки мне и плакала. Не зря плакала... Не хочу называть имя тогдашней Мишиной избранницы — во-первых, сегодня это уже не имеет значения, а во-вторых, найдите мне женщину, которая без необходимости лишний раз произнесет имя своей соперницы... Даже если событие и было очень давним...

У Миши, действительно, и до меня, и при мне было много поклонниц, среди которых были очень талантливые и интеллигентные женщины... Но он всегда говорил: “Моя Сась-

ка и играет лучше Белочки, и танцует лучше Мирочки Кольцовой со всей “Березкой”...” Заманивали же его женщины совсем другого плана... Та самая Н. была совершенно наглой и невоспитанной особой. Когда мы бывали в Москве, она беспардонно звонила в номер, вызывала куда-то Мишу, и он уходил к ней... В ее компанию входили какие-то парикмахеры, фарцовщики, полуспившиеся артисты и артистки, и весь этот хоровод гулял на Мишины деньги, которые аккуратно высылал Роберт по первому Мишиному настоянию...

Яша, помню, сказал: “Кончится тем, что Салли в один прекрасный день соберется и уйдет”. Даже Ида, для которой все, что ни делал Миша, было правильным, начала беспокоиться, как бы Н. не втянула Мишу в какую-нибудь неприятную историю... Когда разговоры на эту тему возникали в моем присутствии, Ида и Роберт переходили на немецкий язык и становились похожими на заговорщиков.

Впрочем, очень скоро их заговор перестал быть секретом: воспользовавшись связями Роберта, Ида обратилась в соответствующие органы, за Н. было организовано наблюдение, и в конце концов ее арестовали и вскоре выслали из Москвы... Об этом я узнала много позже от самой Иды, незадолго до ее смерти... Тогда я подумала: “А ведь если бы Ида захотела, то и от меня можно было бы избавиться таким же способом”. Ради Миши, в критические моменты, Ида не становилась бы ни перед чем. Но я была любимым достоянием ее сына и оставалась неприкосновенной в течение всей жизни, тем более что после Мишиного романа с артисткой Л. (о чем ниже) Ида по-настоящему стала относиться ко мне как к дочери.

12 октября 1960 года родился Гера. Я его недели две переносила, и Миша страшно нервничал. Он как раз в те дни должен был ехать на Олимпиаду в Лейпциг. За несколько дней до отъезда всех членов команды собрали в Москве, и именно в это время меня забрали в больницу, где я и родила. Все уже улетели в Лейпциг, а Мише разрешили слетать в Ригу, чтобы он мог взглянуть на своего сына (мне позволили показать

ему Геру из окна роддома). Миша был страшно возбужден, шутил, но, по-моему, так до конца и не осознал, что стал отцом... В Лейпциг Миша улетел один (!), самостоятельно. Трудно представить себе такой факт в те времена... Но Мишу любили не только почитатели шахмат. Мишу любили и власти. По крайней мере — до поры, до времени.

Гера родился довольно крупным — свыше 4-х килограммов, 56 сантиметров... Абсолютно рыжий. Копия — я... Когда Миша возвратился из Лейпцига, мы были уже дома. Миша посмотрел на рыжий комочек с красной попкой и пришел в неописуемый восторг. Было такое ощущение, что он никогда раньше не видел маленьких детей. Впрочем, так, наверное, и было на самом деле... Он с восхищением рассматривал сына со всех сторон и делал для себя все новые и новые открытия. “Смотри! — восторгался Миша. — У него настоящий нос! А губы! Ты посмотри на его губы!.. Он меня сразу узнал!.. Ты посмотри, какой он мужчина!..”

При всей радости Миша поначалу, по-моему, не воспринимал сына как реальность. Скорее, как забавную игрушку. Вскоре одно за другим возникли два ласкательных прозвища: Булочка и Гусь, Гусевич, Гусеныш... Булочка по мере роста отпала, а Гусь, Гусевич, Гусеныш прошел через всю Мишину жизнь.

Пожалуй, по-настоящему Миша понял, что он отец, в тот день, когда Гера впервые пошел... Он долго пытался сохранять равновесие, когда я его поставила на пол, потом его понесло в сторону Миши, он сделал несколько быстрых шажков и плюхнулся прямо в отцовы колени, пролепетав при этом “па-па”... Миша стал кричать, что мы имеем феномен абсолютно гениального мальчика, что природа и вправду отдыхает на родителей, особенно на маме... Гера, действительно, с самого раннего детства производил незаурядное впечатление и часто был способен на фривольные поступки. Ему было меньше трех лет, когда я вынуждена была отдать его в детский сад. Гере там не понравилось. Он сказал, что там “очень много шкафчиков, и ни в одном шкафчике нет книжек”, и что больше он в детский сад не пойдет. Я стала



ему говорить, что детский сад – это работа. Папочка работает шахматистом, мамочка работает в театре, Мурочка работает бабушкой, а Герочка должен работать в детском садике... Мои убеждения не произвели никакого впечатления, и когда наутро я разбудила его, он спросил: “Опять в детский сад?” “Да, сынок, – сказала я. – Мы же договорились”. И тут он заявляет нечто вроде: “Ну, что ж, тогда я в знак протеста снова буду делать в штаны!” “Саська! – отреагировал Миша. – У нас растет диссидент”.

Любил Миша своего Гуся? Любил очень. Много Миша уделял внимания своему Гусю? Мало. Он забавлялся с ним, а потом словно забывал и уходил в шахматы... Потом снова возвращался, как из другого измерения, и опять уходил... Гусь это очень переживал...

*(Гусь, Гусевич, Гусеныш, Георгий Михайлович Таль,  
врач, отец трех дочерей)*

Два раза в год — в день рождения и в день смерти отца — в ноябре и в июне я с самого утра “заряжаюсь” по-особенному. Я стараюсь отменить на работе все важные дела, я прихожу домой раньше обычного. У меня уже заранее в холодильнике заготовлена бутылка водки. Я запираюсь в кухне, ставлю перед собой отцовский портрет, зажигаю свечу, достаю бутылку, и мы с отцом начинаем выпивать, закусывать и разговаривать, разговаривать, разговаривать... Дети в кухню не заглядывают — жена моя непременно их чем-то занимает. Она, честь ей и хвала, относится к моим ритуальным дням с полным пониманием и сочувствием...

Мы обо многом переговорили за те годы, что его нет. Мне кажется, я узнал его больше, чем за то время, когда мы с ним “контачили” физически. Но я также понял, что совершенно его не знаю, как это ни горько констатировать. Да, я, любящий, почитающий, боготворящий сын, не знаю своего отца. Не втискивается он в привычные рамки того, кого мы называем “отцом”. Не вписывается. И предъявлять ему какие-то претензии по части того, что он мало со мной общался, недостаточно мною интересовался, совершенно нелепо. Он — другой. Он любил меня ПО-СВОЕМУ, горячо и искренне. Я был его сыном, но тоже ПО-СВОЕМУ... Требовать, чтобы он любил меня, как все отцы, чтобы он цацкался со мной, как все отцы, чтобы проверял мои уроки, чтобы читал мне нравоучения — столь же бессмысленно, как требовать от натурального англичанина, который кроме своего родного языка никакого другого языка не знает, общаться с вами исключительно по-русски, и не просто по-русски, а еще и по-тургеневски...

Я человек абсолютно материалистического склада, я хоронил своего отца, вернее, я хоронил лежащее в гробу его тело, облеченное в какой-то “чужой” костюм. Я понимал — отец УМЕР, это — объективная реальность, но до сих пор меня не покидает ощущение, что он играет в каком-то очередном турнире, где-то очень далеко, откуда сложно дать о себе знать, но не сегодня-завтра он “проклюнется”, и я услышу его голос: «Как дела, Гусеньш?.. У меня? Спасибо, плохо. Стою на “минус один”, но если выиграю последние восемь партий, буду иметь “плюс семь”, что достаточно для второго места, так как у Карпова будет “плюс восемь”!»

Сейчас уже не так остро, а в первое время я чувствовал себя так, словно у меня отняли ногу... — я испытывал настоящие фантомные боли. И в душе у меня была абсолютная реальная пустота, объемное пространство, заполненное ранее моим отцом. В то время на наше с женой решение родить еще одного ребенка повлияло и это обстоятельство — как-то заполнить душевную пустоту. И родилась дочка. И назвали мы ее Мишель, а дома она проходит как Миша. Смотрю я на нее и вижу в ней отца, и все свои чувства по отношению к нему переношу на нее. То есть, выражаясь медицински, произошла некоторая компенсация...

У мамы с отцом свои особые взаимоотношения, в которые я никогда не пытался вникнуть. Когда папа женился на Геле и родилась Жанночка, я воспринял это спокойно, без эмоций: Геля — жена моего отца, Жанночка — моя родная сестра, мама моя — моя мама. С Гелей у меня с самого начала и по сей день прекрасные теплые отношения. Жанночка — по-прежнему моя единственная и любимая родная сестричка.

Мама, как всякая мама, считает, что она про мои взаимоотношения с отцом знает все. Однако есть период в моей жизни и в жизни отца, о котором она знает не слишком много... Это был период, когда все папины болячки разом заявили о себе.

Случилось это, по-моему, в 1989 году. То время для меня было тяжелое. Я брал дежурства в клинике почти каж-

дый день. Просто денег не было... Да еще и каждую неделю кровь сдавал — донором подрабатывал. И вот как-то вечером на дежурство звонит Геля: отца срочно увезли в больницу с сильным желудочным кровотечением, практически без сознания...

Звоню в больницу и разговариваю с замечательным врачом и фантастическим человеком Иосифом Гейхманом, обожавшим и боготворившим папу. Он говорит: “Ситуация критическая, хотя на данный момент кровотечение прекратилось, но оно может возобновиться в любой момент...” Я — единственный дежурный врач на четыре отделения. Покинуть больницу не могу. Задача для сумасшедшего: или броситься к умирающему отцу, оставив на произвол судьбы больницу, или остаться в больнице с риском опоздать к отцу... Звоню постоянно. Отвечают: динамики никакой. Еле дожил до утра. Снова звоню. Отвечают: без изменений, без сознания. Хватаю такси, еду в реанимацию... Лежит человек. Вроде бы мой отец, и в то же время какой-то не очень-то и знакомый. Милая, родная личность, и в то же время не он... Землистого цвета лицо. Какие-то нервные люди вокруг него бегают, и никто толком ничего не может сказать. Рядом Геля плачет. И все твердят одно и то же: желудочное кровотечение — будем советоваться, что делать... Вскоре зовет нас с Гелей к себе в кабинет Гейхман и говорит, а у самого глаза, полные слез: “Ребята, не хочу вас расстраивать. Вот рентгенограмма. На рентгенограмме — тумор. Опухоль”. “Какая опухоль?! С чего опухоль?!” “А вот так, — говорит, — дичайшая опухоль свода желудка, из-за которой практически не видно пищевода... Значит, мы в свое время проморгали — это не дефект снимка...”

Решают класть на стол в экстренном порядке. Гейхман предупреждает, что такую операцию здоровому-то человеку сделать — все равно что трамваем переехать, а отец после такой кровопотери... Предлагаю себя в доноры, а они смотрят на мои исколотые руки и говорят, что не имеют права... Я кричу, угрожаю, требую, чтобы именно мою кровь отцу перелили, мол, у нас и группа одна, и резус-фактор... Они по-

шептались, положили меня на стол, взяли кровь, влили папе и повезли на операцию. А меня после такой кровотодачи повело... Вывезли на балкончик в кресле... Посиди, кислороду поглотай...

И вот в первый раз в жизни стал я на этом балкончике молиться. Нет, не Богу. Отцу! “Ты всю жизнь над всеми подсмеивался, ты все всегда в шутку переводил... Молю тебя! Пошути и на этот раз! Сделай так, чтобы все онемели от удивления! Ты можешь!..” Бормочу, а сам думаю: какой юмор при таком кровотечении? Какие шутки при такой опухоли?! Потом спустился к лифту, стали мы с Гелей ждать конца операции... Появляется Гейхман, который всю операцию рядом с отцом простоял, и выражение лица у него, как у человека, который вдруг понял, что он — идиот. “Ничего, — говорит, — там нет... Никакой опухоли нет... Куда она подевалась, я не знаю... Есть только сильно эрозированная набухшая слизистая, кровоточит при малейшем прикосновении... Забили губкой, залили кровь, удерживаем давление...”

Папу отвезли в реанимацию, и, представьте себе, через некоторое время он начал подавать признаки жизни, лицо порозовело, в себя пришел...

“Ты чего, — говорит, — Гусеныш, здесь околачиваешься?” Через день-два все пошло на лад... Веселая получилась шутка... Тогда-то я всерьез подумал: “А папка мой — не от мира сего...”

Но впереди нас ждало еще одно нечто “веселое”... Отец начал садиться на кровати, читать газеты, журналы, кроссворды стали мы с ним разгадывать... По части кроссвордов ему не было равных. Но папа настолько еще был слаб, что разгадает четыре-пять слов и в дремоту сваливается... Прошло недели две. Возвращаюсь я после дежурства домой, дома меня приятель ждет с коньяком. Он из экспедиции вернулся... Сидим, коньяк “уговариваем”. Не заметили, как стемнело. Вдруг звонок. А я боюсь поздних звонков, особенно ночных... В трубке Геля плачет: “Папа опять в больнице...” — “Что значит “опять”?” — “А ты же не знаешь — он

сбежал из больницы”. — “Как сбежал?!” — “Скучно, сказал, ему там стало. Он плащ свой на пижаму надел, тихонько так-си вызвал и поехал домой. А лифт не работает. Он на третий этаж — пешком. Я оглянуться не успела, как он на радостях капустного рассола выпил. Опять таз крови... Только что увезли...” Кинул я в сумку оставшийся коньяк на всякий случай, схватил такси и — в больницу. Отец — опять белый, опять без сознания... В тот момент у меня даже мысль нехорошая промелькнула: “Ну, зачем так, папа? Ну, что ты все время смерть за нос дергаешь? Ну, нравятся тебе такие игры — играй... Но сделай хоть паузу — мы же тоже люди...”

И опять то же самое: кровь, переливание, проблемы... Опять поругался с анестезиологами, но уговорил их на мою кровь. И тут позволил себе определенную глупость, сущее мальчишество... “Что бы, — думаю, — моему отцу сейчас было приятно?”... Забежал в туалет, выпил коньяк и — лег на стол, берут у меня кровь и почти тут же отцу перекачивают... Вдруг смотрю — как в сказке про аленький цветочек: легкая розовинка сквозь кожу засветилась... Минут через пять-семь открыл он глаза, по сторонам повел и говорит, причем еле языком ворочает: “Густь... Такое впечатление, как будто коньячку отведал...”

Может быть, это и случайное совпадение, но так было...

И опять отец пошел на поправку, ну, конечно, с нагноением швов и другими “галевскими радостями”... Каждый день возле него врачи... Вызвали главного гастроэнтеролога Латвии. Замминистра, профессор, совершенно замечательный дядька. Заходит он в реанимацию, а отец, как всегда, с “Кентом” во рту. Посмотрел на него профессор сурово и говорит: “А вот курить вам бросать никак нельзя”. Отец потом сказал: “Этот меня лечить может... Все понимает...”

Только-только отец стал выкарабкиваться, и уже должны были его из реанимации в палату перевести, скоростижно, прямо в больнице, умирает Гейхман. Тяжелейший инфаркт. Лежит буквально через стенку от отца. А у папы интуиция

была фантастическая. Занервничал страшно. “Пусть, – говорит, – Иосиф зайдет ко мне”. А как ему сказать, что Иосиф умер? “Срочно, – отвечают, – уехал домой... Завтра придет”. Завтра опять нет Иосифа. “Заболел, – говорят отцу, – воспалением легких”. Отец чуть ли не в истерику: “Скажите, что с Иосифом?” Пришлось накачать отца пантопоном и сказать... Он, по-моему, сутки после этого в прострации пролежал, но потом как-то целеустремленно пошел на поправку... Когда выписывали, пошутил: “Из-за вашей больницы совсем шахматы запустил...”

Но это было его последнее улучшение. Дальше тащило только вниз. Притормаживало и – опять вниз...

В следующий раз я увиделся с отцом только в Израиле. Я приехал в Израиль 30 января 1990 года, а уже через два дня отец оказался у нас в Натании. С Гелей и Жанночкой. Как игра воображения... Замечательный был, помню, вечер... Я сделал тогда много фотографий. Отец шутил, выпивал... Мы все смеялись, валяли дурака... Но, странное дело! Когда через несколько дней я проявил и отпечатал фотографии, то увидел, что со снимков на меня глядит совсем другой человек. Да, это он, Михаил Таль, мой отец, которого еще неделю назад я обнимал, целовал, ощущал физически, но в то же время и не он... Словно покинуло его что-то витальное, живое. Я вспомнил моего знакомого парапсихолога, который по фотографии мог определить, жив человек или мертв... Я показал снимки жене, и она сказала: “Слушай, нехорошо что-то с отцом...” Но я настолько не верил, или не хотел верить, что с отцом может произойти когда-нибудь самое страшное, что даже обругал Надю и сказал, что отец вечен и никогда с ним ничего плохого не будет. Хотя по дереву постучал...

Через некоторое время отец стал мне звонить... Нет, он и раньше звонил, но не чаще одного раза в два-три месяца. А тут зачастил, и мне стало от этого беспокойно. Наши отношения не были ортодоксальными. Эгоистическое отноше-

ние к отцу как к собственности сохранялось, пока я был маленьким. Мне хотелось, чтобы мы жили вместе, чтобы отец баловал меня и ходил со мной в театр и в зоопарк, как все “нормальные” отцы, но я приучил себя к тому, что это невозможно. И мне было очень обидно. Но после 14–15 лет обидные чувства как-то сами собой исчезли. Я вдруг понял, что частота “нормальных” отношений между отцом и сыном, в конце концов, не имеет существенного значения. Есть более важное ощущение: отец жив, отец здоров – он присутствует, он ЕСТЬ... Вот он позвонил:

- Гусевич, привет! Я в Риге. Как дела?
- Привет, папка! Сколько пробудешь?
- Недели две... А что – я тебе уже надоел?
- Не то слово... Завтра я у тебя... Или послезавтра...

И вот я примчался на улицу Горького.

– Гусь, не знаю, насколько ты поумнел, но подросток достаточно. Как дела?

– Нормально. А у тебя?

– Отлично! Нет одной почки, завалил турнир, потерял деньги! Остальное ужасно.

Еще несколько фраз, и он берет газеты, а я смотрю телевизор, сидя рядом с ним. И чувство, как у собаки, когда хозяин рядом. Пусть даже не гладит, но он рядом. Он ЕСТЬ. Не как выдающаяся личность двадцатого века, являющаяся моим отцом, а просто как мой отец... Кстати сказать, я всегда стеснялся величия моего отца и никогда не пользовался привилегиями сына выдающегося родителя. Когда меня спрашивали иногда, не сын ли я того самого Таля, всегда отвечал, что мы однофамильцы. Мне казалось, что если скажу, что мой отец – тот самый Таль, то стану получать незаслуженные авансы. Не знаю, как кому, а мне это всегда было неприятно...

Потому-то и беспокойно стало у меня на душе, когда он зачастил со звонками. При этом и тональность разговоров стала минорной. Он продолжал шутить (он не мог без этого), но шутки стали какими-то безнадежными... Как говорят, юмор висельника...



- Пап, как ты себя чувствуешь?
- Неважно... Зато абсцесс мой в прекрасной форме, гораздо лучше моей игры на турнире в Испании...
- Тебе надо приехать в Израиль и подлечиться.
- Гусь, я не араб, чтобы создавать Израилю дополнительную головную боль...

#### “КАК ТАЛЯ В ИЗРАИЛЬ ПРОВОЖАЛИ”

«...Экс-чемпион мира Михаил Таль встретился с корреспондентом “Коммерсант (Ъ)” и опроверг сведения мировой прессы о своем отъезде. Начало слухам положила крупнейшая югославская газета “Политика”, первая сообщившая об отъезде Таля со слов известного советского гроссмейстера Алексея Сузтина. Затем информация перекечевала в Голландию, а потом и за океан, где в то время находился чемпион мира Гарри Каспаров. Естественно, что у чемпиона спрашивали, насколько серьезны намерения Таля. Каспаров отвечал, что серьезны, а подробную версию изложил в газете “Новое русское слово”: Таль тяжело болен, в Союзе его болезнь не лечится, поэтому он и уезжает в Израиль. Слова столь известного и уважаемого человека – достаточное основание для дальнейшего распространения информации. И молва об эмиграции советского гроссмейстера перекечевала в газеты Швеции и ФРГ.

Таль прокомментировал заявление Каспарова так: “Все мы знаем Гарри как гениального шахматиста. Теперь мы узнаем его и как одаренного бизнесмена и политика. Но мы даже не могли догадаться, насколько сведущ он в ближневосточной медицине...”

...У меня в Израиле сын, масса друзей, я ездил туда, хочу и буду ездить впредь. Но – с обратным билетом”».

*(“Рижские шахматы”, 1990 г.)*

Однажды Геля звонит: у отца совершенно дикое падение иммунитета. Не было печали, говорю, недоставало нам еще и этого... Продолжает: у отца какие-то изменения в формуле крови, у вас есть хорошие гематологи? Отвечаю, что у нас

много хороших врачей, в том числе есть и очень хорошие гематологи, высылай факсом анализы.

Пришли анализы. Читают наши специалисты анализы и ничего в очередной раз понять не могут. У отца к тому времени возникла желтуха. Не механическая! Не закупорка протока! Судя по всему, что-то типа вирусного гепатита... А ни одна из проб ничего не показывает! Мистика! Человек желтый, как лимон, а билирубин в норме! Опять все медицинские каноны летят к чертовой матери...

Звонит он мне из Германии. Отвечаю:

— Отец! Тебе надо срочно приехать сюда...

— Ни за что! (Разговор уходит в сторону...) Как Надя? Как погода?..

Геля уже потом мне сказала, что отец боялся Израиля — вбил себе в голову необъяснимую боязнь... По самовнушению, по-моему, ему равных не было... Как-то в Риге еще собрал он всех нас на улице Горького и заявляет между прочим: “Со мной все кончено. Умру месяца через три-четыре. У меня рак головки поджелудочной железы. На юг отдыхать поедете без меня”. И что? Представьте себе, что он начал терять в весе, отказываться стал от еды... В общем, стал торопиться на тот свет по собственному диагнозу. И вдруг как-то сказал: “А вы знаете, кажется, у меня нет рака головки поджелудочной железы...” И выздоровел! Вот такие он себе позволял “игры”...

Боязнь Израиля, судя по всему, была очередной талевской “игрой”, и я по сей день виню себя за то, что не смог поломать эту его “игру”, не смог заставить приехать в Израиль на лечение... Впрочем, кому нужны сослагательные наклонения, эти, как любил говорить отец, “культивирования остаточного образа”? Таль потому и был ТАЛЕМ, что всю жизнь играл свою игру...

25 июня 1992 года я приехал к маме в Антверпен — погостить.

Мама уже давно живет в Бельгии. Будучи в эмиграции, она познакомилась с немолодым бельгийцем Джо Крамарзом. Джо к тому времени был вдовцом и имел двух взрослых сыновей. Он влюбился в мою мать как-то сразу, и я его могу понять — мама моя и сегодня, в мои тридцать семь, потрясающе оболстительная женщина, в которую нельзя не влюбиться. А когда Джо узнал, что мама — бывшая жена самого Таля, он сказал, что это — судьба, что Таль — его любимый шахматист за всю историю шахмат, что познакомиться с Талем, а может быть, и сыграть с ним партию-другую — мечта всей его жизни... Короче говоря, Джо вскоре сделал матери предложение, а мечта всей его жизни не замедлила осуществиться: мама познакомила Джо с моим отцом во время какого-то турнира не то в Бельгии, не то в Голландии, и они до самой смерти Джо (а он умер от рака спустя семь лет после женитьбы на маме) оставались в приятельских отношениях и даже “сгоняли партию-другую” в шахматы...

И вот я у мамы. Я был изрядно вымотан, и мне хотелось просто пару недель ничего не делать. Был разгар лета, стояла фантастическая погода, и мама сказала: “Мы с тобой едем на побережье в Кноки. Ты поплаваешь и, наконец, загорись”. Это меня, жителя Израиля, она увезет к морю, чтобы я загорел (!).

С мамой спорить бессмысленно, да и зачем? Кноки — так Кноки... На следующий день сели в машину и поехали на побережье. Но ни цель поездки, ни красоты бельгийского ландшафта не создают мне соответствующего настроения, потому что все прокручиваю и прокручиваю в голове кошмарный сон предыдущей ночи: отец, плавающий в большом бассейне. Только вместо воды бассейн наполнен кровью...

Матери я, естественно, об этом не рассказываю, пытаюсь отвлечься, но не могу. И вдруг мама ни с того ни с сего говорит: “Герочка, а что же мы с папой будем делать?” — “В каком, — спрашиваю, — смысле?” — “Отец мне сегодня снился и был очень грустным. У меня кошки на душе скребут”.

Меня словно обухом по голове. Попросил маму остановить машину. Она говорит: “Тебе плохо? Ты очень побледнел!” И тут я рассказал ей про свой сон. “Мы с тобой оба устали”, — сказала мама, и мы поехали дальше. Но до самого побережья не произнесли ни слова.

Приехали, бросили вещи и пошли загорать... Час валялись. Но что-то не загорается, не отдыхается что-то... Пообедали... Мама говорит: “Пойдем вздремнем. Может, мы не выспались...” Времени часа четыре дня... Сна — ни в одном глазу. Телевизор включил — я под телевизор быстро засыпаю. Никакого эффекта. Вдруг мать выходит из спальни. Собранная, одетая, сосредоточенная... “Бери вещи — едем домой”.

Приезжаем — звонит Геля: отец в больнице в тяжелейшем состоянии...

Что делать? Решили немедленно звонить в российское посольство. Собрали телефоны, начали дозваниваться... А это суббота была. Дозвонились кое-как. Мол, так и так... Нас спрашивают: у вас виза российская есть? Нет. Тогда ничем не можем помочь. Мы опять давай названивать... Дают нам новые телефоны. Наконец, часа через полтора выходим на какого-то вежливого сотрудника. Не то заместитель, не то помощник консула. Говорит, приезжайте в воскресенье в посольство, свяжусь с консулом... В общем, обещал — поможем. Причем помню, что так и сказал: “Поможем”. Не “попробуем помочь”, а “поможем”.

Но в посольстве меня ждала тяжкая бюрократическая процедура: согласования и прочее, и прочее... “Ничем вам помочь не можем”. Я — чуть не в слезы: “Поймите, исключительный случай, отец при смерти, сделайте одолжение...” Спрашиваю, что именно нужно, для того чтобы мне дали визу. Ответ: “Официальный телекс из шахматной федерации, подтверждающий ваши слова, и справку из больницы”. Звоню в Москву Геле, и через четверть часа мы на посольство факсом получаем справку из больницы. “Где круглая печать? Где телекс?” Снова напряженность, снова согласования...

Получаю наконец готовую визу: “Но имейте в виду — ваша виза срочная, поэтому стоит будет в два раза дороже”. Какая разница?! Хоть в четыре раза!..

Первым же рейсом вылетаю в Москву.

В течение всего полета непрерывно курил и молился. И Богу молился, и отцу... Смысл моих молитв был в том, чтобы и на этот раз папа “отшутился”. Но мрачные предчувствия оказались сильнее молитв, и чем ближе подлетали к Москве, тем более отчетливо понимал: на сей раз отец не “отшутится”... И если прежде, когда он попадал в реанимацию, я рисовал в своем сознании радужные картины будущего: представлял себе, как он пойдет на поправку, как выздоровеет, как опять будет раскатывать по турнирам, то теперь перед глазами, словно в беспорядочно смонтированной киноленте, пронеслись разорванные эпизоды прошлого, отдельные фразы, случайные детали, связанные с отцом, и это все более убеждало меня в необратимости происшедшего...

Откуда-то всплыло размытое ощущение из детства... Я уютно устроился в своей кровати на улице Горького в Риге, а папа сидит на краю и читает мне книжку. Какую — не помню... Но голос его слышу отчетливо... Почему именно этот нетипичный эпизод посетил меня в тот момент, не знаю. У отца было всегда мало времени, и читал он мне крайне редко, но сегодня я могу сказать точно: чтение его для меня было огромной радостью, но еще большее удовольствие от этого процесса получал он...

Я вспоминал и не мог вспомнить ни одного случая, чтобы папа наказал меня, накричал, хотя и не скажу, что он меня баловал. Он никогда не позволял себе нарочитых нравочений и не учил меня жить. Один раз он мне, правда, выговорил, но сделал это чисто по-талеvски. Он взял меня с собой на мемориал Пауля Кереса в Таллин. В поезде было много мастеров и гроссмейстеров, и с утра, как водится, все

толпились в проходе и болтали о чем-то в ожидании своей очереди в туалет, курили...

Мне было четырнадцать лет, а курить я начал в тринадцать. Сказал об этом отцу сразу. Он, помню, тут же протянул мне сигарету и произнес: “Не верю. Ну-ка, затянись...” И когда я затянулся, он строго сказал: “Теперь верю”. Потом достал из ящика стола блок “Филипп-Моррис” (царский по тем временам подарок) и заключил торжественно: “Лучше курить открыто хорошие сигареты, чем в подъездах всякую дрянь”.

Так вот, я подошел тогда в поезде к отцу и при всех, как у равного, попросил закурить. Сын Таля, пацан еще, нагло просит у отца закурить! Отец сделал наигранно суровое лицо и спросил: “А ты уже почистил зубы?” “Нет еще”, — сказал я. “Кто тебя воспитывал? — произнес он нарочито менторским тоном. — Сначала следует почистить зубы, и только после этого ЧИСТЫМИ зубами брать сигарету!”

Отблесками из прошлого высветились моменты приезда папы после турниров и подарки. Ни разу не приезжал он без подарка, и каждый его приезд воспринимался мною прежде всего как подарок. Подарки носили хаотический, бессистемный характер — иногда они запаздывали по возрасту, иногда опережали, вызывая у меня недоумение. В таких случаях отец говорил: “На вырост”.

Случалось, как я уже упоминал, мне было обидно, что у меня папа не такой, как все, что не ходит со мной в зоопарк, не водит по выходным дням в кино, в театр... Когда мне было десять лет, мы с мамой жили уже отдельно от папы. Он в очередной раз уехал на какой-то турнир, мой день рождения прошел без него, без подарков... Не дал о себе знать и позже... И вот, в день его приезда я позвонил ему домой и сказал Роберту, что очень обижен, что к отцу больше не приду и тому подобное. “Завел” себя и бросил трубку. Через час позвонил отец: “Гусевич? Извини меня, милый! Папка твой совсем заигрался... Но о тебе все время помнил... Ты же знаешь, как сложно звонить из-за границы... Простишь меня, Гусе-

вич, или мне утопиться?” И вдруг мне стало стыдно за то, что я на него обиделся... Я сразу приехал на улицу Горького и извинился. Папа сделал вид, что ничего не произошло, а у меня с тех пор исчез сыновний “эгоизм”. Именно тогда осознал по-взрослому, что у меня ТАКОЙ папа. И никакой другой!

Ком у меня застрял в горле, когда я представил себе, что могу больше никогда не услышать привычное и такое родное “Гусь, Гусевич, Гусеньш”... Я подумал, что если отца не станет, исчезнут и “Гусь”, и “Гусевич”, и “Гусеньш”... И в моей жизни наступит совсем новый, куда более жесткий период. Если бы я был один, то, наверное, разрыдался бы... А потом я подумал: а называл ли меня отец когда-нибудь по имени? Не Гусь, а Гера? И не вспомнил ни одного случая... Однажды он обратился ко мне, назвав Герушей... Хорошо помню, это было в 1980 году в Амстердаме, куда я приехал к отцу на турнир, привезя для передачи моей Наде, которая тогда еще оставалась в Риге, подарки.

Мне тогда было несладко. Мы с мамой уже почти два года жили, даже не жили, а существовали в Германии. Ни работы у меня нормальной нет, ни с учебой я ничего не могу решить. Я люблю Надю. Она как бы моя невеста. Я в Германии. Она в Риге. Что дальше — неизвестно. Полный разлад в душе... В общем, животворная база для ностальгии. И мама сказала мне: “Если ты так мучаешься, не вернуться ли тебе? Уладишь все с Надей, а там посмотришь...”

Легко сказать “не вернуться ли тебе”... В те годы!

Так, с подарками и серьезнейшими вопросами, я приехал в Амстердам к отцу. Вечером в гостиничном номере я сказал ему, что намерен вернуться и прошу, естественно, его помощи в этом вопросе. Вот тогда-то он в первый и последний раз назвал меня Герушей. “Геруша, — сказал он, — я понимаю, что ты хочешь получить от меня готовый ответ и решить задачу, поставленную перед тобой ДРУГИМ человеком, даже если этот ДРУГОЙ человек — твой отец... Но нет. Задачу ты должен составлять для себя САМ, а решить ее технически помогу тебе я, какова бы задача ни была...” Я сказал: “Буду возвращаться”.

Отец посмотрел на меня пристальным, пронизывающим взглядом. (Такие взгляды он бросал на соперника во время игры.) Потом сказал: “Не спеши, чтобы не сделать ход с угрозой вернуться на прежнее поле. Я тебе сначала помогу с гостевой визой, а там видно будет. Захочешь остаться — останешься”. На самом деле это звучало так: захочешь остаться — помогу тебе, чтобы ты остался...

Когда я нагружал его кучей неприятностей, он принимался разгребать ее спокойно, в возникших в данный момент реальных обстоятельствах. (В отношениях со мной он реально оценивал трудности, словно воздвигаемые партнером в ходе шахматной партии.) В первый раз это случилось в конце 1978 года. Мы с Надей вернулись из Сочи, где проводили отпуск, и мама сказала мне о своем намерении уехать из СССР, что для меня явилось полной неожиданностью. Уезжать из страны у меня не было в тот момент, честно говоря, ни желания, ни резона: незаконченный институт, разгар безумной любви... Ошарашен я был и сказал маме: “Подавай документы, а я останусь... Во всяком случае, до окончания института, до женитьбы...”

Но когда мама подала документы, советские товарищи ей сказали прямо: “Не думайте, гражданка Ландау, что мы совсем уж идиоты. Сначала уедете вы, а потом за вами последует ваш сын. А мы не намерены готовить ни специалистов, ни солдат для вашего Израиля. Так что, будьте так любезны, отправляйтесь или вместе, или не отправляйтесь вовсе”.

И тогда я решил для себя, что обязан поехать вместе с мамой, потому что бросать ее одну не имею права. Она слишком много значила в моей жизни, и ради нее я готов был пожертвовать всем, пусть даже самым дорогим... Я надеялся, что потом смогу вернуться и выполнить все свои человеческие обязательства перед Надей, без которой не мыслил свою дальнейшую жизнь...

Но без отцовского “Не возражаю против выезда моего сына на постоянное место жительства в государство Израиль” меня бы никто не выпустил... Здесь надо пояснить, что мама уезжала по израильской визе.



Отец, узнав о мамином решении, сказал сразу, без раздумий: “Если Гусь не возражает, я не против”. Он прекрасно понимал, какими неприятностями может обернуться для него наш отъезд. Забегая вперед, скажу, что Надин брат, который работал в Москве в одном из НИИ, вскоре после нашего отъезда был уволен с работы... Это при том, что официально на тот момент мы с Надей были чужими друг для друга людьми. А тут родной сын! Конечно, с одной стороны, мой отец был не просто отец, а знаменитый на весь мир человек. Но, с другой стороны, звездный час Таля был уже позади. Страна сотворила себе новых, более удобных кумиров, и правительственно-партийная любовь к одному из экс-чемпионов мира остыла... При всей своей “инопланетности” и отрешенности от мирских дел отец несомненно знал, на что он идет, но поступить иначе не мог. “Неужели по ходу игры мы не разберемся в возникших осложнениях?” — часто повторял он.

Папа относился к категории людей, которые принимают решения быстро и исключительно по подсказке совести. С последствиями он разбирался потом... Когда я приехал в Ригу по гостевой визе и вскоре решил остаться насовсем, Роберт сказал: “Я счастлив, что ты вернулся, но ты должен отдавать себе отчет, что вернулся в клетку”. И это сказал человек, который многим помог и морально, и материально из этой клетки вылететь... Отец прореагировал просто: “Решил — оставайся. Все, что обещал, сделаю”. И сделал. Все же хлопоты по восстановлению меня в институте, по прописке, по квартире легли на Гелю, и я никогда этого не забуду...

Чем ближе мы подлетали к Москве, тем тревожнее становилось на сердце. Я не мог себе представить, что останусь без него. И я, яснее чем когда-либо, почувствовал, как безумно люблю своего отца. Любовь к нему проявилась у меня уже в достаточно сознательном возрасте... А любил ли я его в детстве? Может быть, так, как сыновья любят своих отцов, и не любил, потому что теперь понимаю, что его отношения с мамой, а стало быть, и со мной, нормальными назвать нель-

зя. Помню, мы с мамой жили в квартире на Горького в одной комнате, а папа встречался с какой-то дамой в другой. Я догадывался, что так быть не должно, но воспринимал все как данность, потому что в любой момент мог зайти к папе, и всегда он был рад меня видеть...

Прекрасно помню, как спускались мы с мамой на улицу в один из обычных дней. Спускались пешком — лифт не работал, и мама вдруг сказала: “Сыночек, мы с папой должны будем развестись. Ты должен подумать, с кем ты будешь жить — со мной или с папой?” Что я понимал тогда? Ничего. И сегодня могу сказать, что вопрос, который задала мне мама, был не совсем, как говорят, корректным. От меня ничего не зависело. Я жил с мамой и считал, что должен жить с мамой, и понимал, что после “развода” папу я буду видеть не реже, чем до “развода”... Понятие “нормальной” семьи для меня тогда не существовало.

Как-то до “развода”, когда у мамы были длительные гастроли, а у папы турниры, я вдруг оказался на взморье в каком-то лагере, не то детском приюте, где все дети были стриженными наголо и в одинаковых серых платяцах и костюмчиках. Честно говоря, до сих пор не знаю, за что меня туда “сослали”. Мучился я там страшно и часто плакал... Однажды приехал папа. На целый день. Он привез мне (это на всю жизнь “застряло” в моей голове) заводную машинку “скорой помощи” с мигающими огоньками и сиреной. Помню, что мы с ним были в ресторане и в цирке... Помню, что когда он уехал, я закатил истерику. Мне было страшно обидно, что другие дети ВСЕ ВРЕМЯ живут с папой и мамой, а у меня то мама куда-то уезжает, то папа, а то мама и папа сразу... Так что к моменту “развода” я уже ко многому привык...

Лет в десять я чем-то заболел и попал в больницу. Когда отец приехал навестить меня, врач стал просить его сыграть со мной партию в шахматы, чтобы видели все больные дети. К тому времени я имел кое-какое представление о шахматах. Во всяком случае, умел передвигать фигуры. Отец, помню, согласился и “проиграл” мне при всем честном народе. Простодушный доктор был настолько ошарашен результатом, что стал уговаривать отца непременно воспитать из меня

шахматиста, на что отец, улыбнувшись, заметил: “Два сумасшедших на одну семью – слишком много”.

ФРАГМЕНТЫ ИНТЕРВЬЮ, ДАННОГО М. ТАЛЕМ КОРРЕСПОНДЕНТУ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА “НЕДЕЛЯ” Георгию КОФМАНУ (1973 г.)

Г.К.: Мы перечислили ваши официальные титулы, но есть ведь и другие. Например, югославский шахматный обозреватель Неделькович сообщил, что зарубежные болельщики зовут вас “Шахматным кудесником”, “Рижским корсаром”, “Демоном 64 полей”. Уж и не знаешь, как к вам обращаться!

ТАЛЬ: Зовите меня просто Мишей! Во-первых, соответствует действительности, во-вторых, как-то не позволяет стареть!

Г.К.: Попробуем “играть” в вашем стиле: пойдем в лобовую атаку. На страницах зарубежных изданий появляются заголовки: “Возрождение Талья”, “Новая весна рижанина”, “Предстоит матч Таль–Фишер?”. Многие шахматные журналисты, учитывая, что вы, согласно коэффициентам профессора Эло, занимаете второе место после Фишера, надеются на это. А вы?

ТАЛЬ: Я тоже журналист и, понятно, солидарен с ними. Но самого страстного их и моего желания еще мало!

Г.К.: И все же... Напомните итоги ваших встреч с Фишером.

ТАЛЬ: Ну, они представляют лишь “библиографическую” ценность. Играли-то мы в те времена, когда маленьких детей пугали мною, а не Фишером. Последний раз – в 1962 году. Из одиннадцати партий я выиграл четыре, тогдашний Бобби – две, пять мы свели вничью. С тех пор Фишер, несомненно очень талантливый и трудолюбивый, стал одной из крупнейших фигур в современном шахматном мире.

Г.К.: Какая самая необыкновенная встреча за шахматной доской была у вас?

ТАЛЬ: Не так давно с Полом Морфи. Да-да, без всякой “мистификации”. Меня пригласил к себе известный психиатр и предло-

жил сыграть с ... Полом Морфи (помните имя первого американского чемпиона?). Доктор загипнотизировал одного парня, внушил ему, что он – Морфи. И так, знаете, крепко загипнотизировал, что этот “Морфи” согласился сыграть со мной лишь за 100.000 долларов. “Гононар” был вручен ему врачом (в виде пустой бумажки, конечно), и мы сели за столик. “Морфи” играл гораздо лучше, чем потом, когда снова стал московским парнем, и забыл, что с ним происходило полчаса назад. Но тем не менее, как “Морфи”, проиграл мне три партии.

Г.К.: А ваш сын Гера последовал примеру отца? Он играет?

ТАЛЬ: Нет. Он говорит, что у него есть дела посерьезнее.

.....

Г.К.: Как обстоят дела с шахматами в США?

ТАЛЬ: Невольно приходит на память известное определение так любимых мною Ильфа и Петрова: “Одноэтажная Америка” – там таких “небоскребов”, как Фишер (наивысший среди них!) – раз, два, три, четыре и – обчелся... Шахматный бум, поднявшийся там после Рейкьявика, утихает, а Советский Союз по-прежнему остается страной, где искусство, я сказал бы, музыку шахмат любят, ценят и понимают миллионы людей. Наши резервы неисчерпаемы!

Г.К.: Значит, вы оптимист?

ТАЛЬ: На вполне реальной базе трезвого расчета возможных вариантов!

Справедливости ради скажу, что шахматная природа отдохнула на мне основательно, так что хорошо, что я не заразился шахматной болезнью, – “Таль младший” изрядно позорил бы “Тяля старшего”. Зато лет в восемнадцать пристрастился к шахматным “поддавкам” и добился в этом весьма приличных успехов. Потом я узнал, что эта игра вполне “узаконена”: существует теория, есть учебники, и даже проводятся чемпионаты. Однажды я предложил папе сыграть в шахматные “поддавки”. Он сказал, что “поддавки” хороши для проведения чемпионата психолечебниц, но сыграть согласился. Вдрызг проиграл мне партию, пробурчал “бред сивой кобылы”, подумал немного и предложил сыграть вто-

рую. И выиграл. После мы с ним играли не раз, и могу с гордостью сказать, что из каждых пяти партий счет был 3 : 2 либо в мою, либо в его пользу. Правда, когда он “принимал” грамм сто, он не оставлял мне ни малейшего шанса...

Он пьянел быстро. С его здоровьем ему немного было надо, но, удивительное дело, после того, как наступал так называемый “кайф”, он мог выпить много, но “хуже” не становился... От усталости мог задремать или заснуть, что называется, посреди стола.

И ни один человек из тех, кому доводилось видеть пьяного Таля, не может сказать, что он становился неприятным, злым, агрессивным, потерявшим рассудок... Он никогда не доставлял окружающим неприятности. Его обожали в любом виде и относились к нему, как к святочитимому... Даже те, которые видели его в таком состоянии впервые...

Я был настолько занят этими и другими разными мыслями, связанными с отцом, что полет прошел как-то очень быстро. По прилету всякие пограничные и таможенные формальности тоже не показались мне обременительными. Может быть, действительно, за то время, что я не был в России, произошли изменения к лучшему. Я не помню, какой мне показалась Москва... “Фотографическая” четкость проявилась в больнице.

Хотя, что значит четкость? Все последующие дни напоминали мне езду в тумане. Туман, туман, туман, и вдруг неизвестно откуда возникающее просветление, солнце, контурированный пейзаж, абсолютная видимость, и опять туман, туман, туман...

...Заглядываю в окошко “информации”. Сидит какой-то парень и две девчонки в белых халатах. О чем-то разговаривают. Я прошу прощения и здороваюсь. Они смотрят на меня с некоторым раздражением — я помешал их разговорам. Но что-то, видимо, в моих глазах им показалось достаточно серьезным, и одна из двух спросила меня холодно, но вежливо, что меня интересует...

- Хочу повидать отца.
  - Где он лежит?
  - В реанимации.
  - Вас туда не пустят.
  - Меня пустят. Как туда пройти?
  - Фамилия отца?
  - Таль.
  - Сейчас узнаю (набирает номер). Таль где у нас?.. Да?..
- (пауза). Ладно. Попробую... (поворачивается ко мне). Я должна... вам... сказать...
- Когда?!
  - Три часа назад... Можете туда подняться...

Туман...

Анестезиолог:

- Я сейчас не могу вас пустить... Мы еще не прибрали...
- Как это произошло?
- Профузное кровотечение... Варикоз вен пищевода...
- Спасибо... Извините...

Извинился из-за того, что заплакал... Пошел. И тут он мне сказал:

– А он вас все время ждал... И когда в сознании был, спрашивал...

Слова эти звучат в ушах по сей день и будут звучать до моего последнего часа...

...А потом – квартира Семена, папиного друга. С ним отец был в последнее время особенно близок... Семен, его жена, Женя Бебчук, Геля, Жанна... Плачет одна Жанна. Худая, измученная... Больше никто не плачет. Помню это точно... И почему-то все вспоминают какие-то смешные истории из папиной жизни... Словно он не умер, а вышел в соседнюю комнату и сейчас вернется...

Вот такой он был человек, что даже в день смерти никто по нему не плакал... Потрясение выражалось парадоксально – все вспоминали что-то смешное...

Дальше началась полная чертовщина. Подумал: хорошо, что мама не приехала. При всей маминой выдержке ее бы не хватило...

Опять туман... А потом разговор в морге с санитаром: “Не беспокойтесь. Все сделаем на уровне... Что мы, не знаем Михаила Таля?”

В сплошном тумане перевозка тела в Латвию... И здесь — моя особая благодарность Анатолию Евгеньевичу Карпову. Если бы не его авторитет и напористость, не знаю, как бы мы справились. Он сделал все — и транспорт, и даже эскорт мотоциклистов...

Потом опять в тумане дорога от вокзала на автобусе, который глохнул каждые двести метров... При подъеме на “вэфовский” мост автобус, конечно, заглох, и я, помню, думал только об одном — надо как-то придерживать гроб, чтобы отца не укачало (!)... Я никак не верил, что он мертвый. Я по сей день в это не верю. А тогда мне казалось, что разыгрывается кошмарно-веселый фарс, в ходе которого отец переезжает в Ригу, лежа в гробу...

Отец был национальным героем Риги. И я ожидал столпотворения на его похоронах. Был пасмурный с дождиком день. По-моему, на кладбище было несколько сот человек. Это, конечно, много, но ничего общего с понятием “столпотворение”. Я, естественно, не придавал значения количеству провожающих — я простался со своим отцом. Остальное меня не интересовало... Но чисто подсознательно ощущал некоторую досаду — все-таки я предполагал, что проститься с Талем придет “вся Рига”. Ведь когда он возвратился с лавровым венком, его “вся Рига” встречала. Я видел хронику тех лет, мне рассказывала мама и другие очевидцы... И в день похорон мне было обидно за отца...

Почему-то всплыла в памяти картинка, которую наблюдал в детстве... Глядя в окно, я увидел, как на землю опустилась большая стая голубей. Они окружили одного голубя, который бился в судорогах, и было полное впечатление, что

они обеспокоены судьбой своего товарища. Но... Они “переговаривались” друг с другом, и дальние протискивались к центру, чтобы увидеть, как погибает их собрат. Умиравший дернулся пару раз и затих. Дунул ветер, с мертвого голубя полетел пух. Голуби деловито разлетелись в разные стороны — их мертвый собрат мгновенно перестал быть им интересен... Так нередко происходит и у людей, но мне не хотелось, чтобы так же произошло и с папой. С сожалением вынужден констатировать: случилось именно так, как, бывает, происходит в жизни.

Для меня, для мамы, для Гели, для Жанны, может быть, для еще десятка близких людей зияющая пустота, возникшая с уходом отца из жизни, до конца останется зияющей пустотой, которую не заполнит никто и ничто...

Помню рыдающего, как ребенок, Александра Григорьевича Баха. Помню Радко Кнежевича, лицо которого отражало полное недоумение по поводу того, что произошло. Как он сам потом говорил, он никак не мог “врубиться” в суть случившегося, все повторял про себя и вслух: умер Миша, умер Миша... Но смысл того, что это умер его друг Миша, что это умер великий Таль, до него не доходил. Ему казалось, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда...

Запомнился Александр Нафтадьевич Кобленц, который говорил очень много теплого и одновременно много чего-то несуразного, не имевшего никакого отношения к тому факту, что мой отец лежит в гробу...

Почему-то запомнился какой-то идиот из общественных деятелей, несший официальную траурную галиматью. Очень хотелось, чтобы он заткнулся... Потом началось нечто непонятное по поводу того, класть в гроб шахматную доску с фигурами или не класть в гроб доску с шахматными фигурами. Кажется, все-таки не положили... Бог с ними... Сейчас-то уж точно это не имеет никакого значения.

Тогда я проникся еще одной реальностью: наша большая семья — вдруг распалась...



Я живу и работаю в Израиле. По дороге на работу каждый день проезжаю мимо кладбища и всякий раз вспоминаю, что кладбище, на котором лежит мой отец, далеко и у меня нет возможности прийти к нему на могилу. Снова и снова не прощаю себе, что не заставил его приехать в Израиль, где, может быть, ему удалось бы продлить жизнь, а если и нет, то, по крайней мере, он всегда был бы рядом со мной. Это — не эгоизм. Это — моя боль. Это — связь с отцом.

В течение года после того, как отец ушел (до сих пор не могу сказать “после смерти отца”), если я попадал в какой-нибудь ресторан или кафе, непременно заказывал дозу виски или коньяка, повторял, снова повторял и вступал в длительные беседы с отцом, физически ощущая его присутствие. Раньше он часто звал меня во сне. Несколько реже это происходит и сейчас. Я сижу рядом с ним... Иногда он вдруг обнимет меня, или погладит, или поцелует, и я ощущаю этот физический, тактильный контакт с ним, который при его жизни был для меня просто необходим...

Про папины болезни говорили и писали многие. Таль немислим был без своих “болячек”. А толком так никто ничего не мог сказать... Как-то Радко Кнежевич показал мне статью в югославской газете, в которой писалось, что Михаил Таль долго лежал в больнице с необратимым циррозом печени и атрофией почек, что недавно удалось поставить его на ноги, пересадив ему почку его родного брата Якова... Статья эта всех нас огорошила. Дело в том, что к тому времени уже прошло три года, как Яша умер, и папа страшно “гневался”, мол, почему от него скрыли, что ему пересадили Яшину почку, и что он “намерен требовать проведения эксгумации”... Черноватый, конечно, юморок... Но папа очень любил своего брата, и Яша, за упокой которого мы выпили, наверняка на том свете “простил” его...

А вообще-то началом всех его физических страданий, как это ни банально звучит, был сам факт его рождения. С

этого момента отец как бы коллекционировал свои болезни. Но в основе, конечно, была совершенно патологическая, нефротическая почка. Мучила она его жесточайшим образом. Люди, страдающие почечными болезнями, знают, что ничего отвратительней и изнурительней, чем почечные боли, на свете не существует... Непонятно, как при таких болях вообще можно существовать, не то чтобы играть в шахматы. Убежден, что матч-реванш Ботвиннику проиграл не отец. Проиграла его больная почка...

Конечно же, ему делали обезболивающие инъекции. Несомненно, что в таких случаях развивается и определенное привыкание. Это, кстати, и послужило основой для разговоров и сплетен по поводу того, что Михаил Таль — симулянт, что ничего у него не болит, а просто он алкоголик и наркоман. Когда в Тбилиси “симулянта и наркомана” положили на операционный стол, то вообще пришли в недоумение, почему этот “симулянт” до сих пор жив! То, что они увидели на операции, никак не могло называться почкой — было сплошное расплавленное некротическое месиво... Отец остался с одной почкой, которая, в конце концов, компенсировалась, гипертрофировалась и тому подобное...

Ему запрещали курить, пить, ... жить. Как бы не так!

Отец, по-моему, относился к своей жизни, как к шахматной партии, и несколько философски... Есть дебют, потом дебют переходит в миттельшпиль, и если в миттельшпиле не происходит катастрофа, то наступает унылый технический эндшпиль, в котором в конечном счете у человека нет никаких шансов. Отец, насколько я знаю, не получал удовольствия от игры в эндшпиле — ему было скучно и пресно... И лиши он себя добровольно курева, коньяка, веселых компаний, поклонниц — то есть того, что и составляет остроту ощущений в жизненном миттельшпиле, он оказался бы в эндшпиле, где ему ничего не оставалось, как “докоптить” жизнь. Но тогда это был бы другой человек в обличье Таля. А какая разница — умер ты духовно или

физически, если ты — не Таль. Эта длинная многоходовая комбинация с большим количеством ответвлений была им, безусловно, просчитана. Он понимал, что смерть он все равно не обыграет, но “похулиганит” красиво и изрядно подергает ее за нос.

“Хулиганить” — было его любимым словом. Я имел возможность наблюдать за ним, когда он с Кобленцом готовится к какому-нибудь турниру или анализирует свою или чью-нибудь отложенную позицию. В какой-то момент его лицо вдруг преображалось, в нем появлялось что-то вызывающее, и он произносил: “А что, если попробовать схулиганить!” И было понятно, что сейчас Таль предложит фантастический, умопомрачительный вариант с премножеством вариантов и жертв. Если комбинация оказывалась “с дыркой”, он расстраивался, как ребенок, у него обидчиво отвисала нижняя губа, и он говорил: “Печально, но хулиганство не прошло”. И еще он был “болен” блицем, потому что в блице он мог хулиганить направо и налево...

Его взлет на шахматный трон был расценен многими как непостижимое, необъяснимое, неподдающееся нормальной логике дебоширство. Его опровергали, находили его комбинации некорректными, самоубийственными... Но все это было потом, после игры, после того, как соперники получали мат или вдруг обнаруживали, что позиция безнадежна. Впоследствии его перестали опровергать и восприняли его манеру игры как должное, как беспощадный факт. Новое же поколение шахматистов противопоставило ему бесстрастный прагматичный стиль, заведомо отвергая предложенную им “хулиганскую” полемику. Отец изменился, он вынужден был принять эту солидную шахматную прагматику для того, чтобы бить соперников их же оружием. Стали говорить, что Таль повзрослел, или иначе — потяжелел, увял... А он все равно оставался самим собой, великим... Разве что — более задумчивым. И если кто-то заглядывал во время партии подброшенный им крючок и он вытаскивал на победный берег рыбу невероятной красоты — это было величайшим счастьем и неопишуемой радостью. Думаю, количество призов, завоеванных им за самую

красивую партию, за самую блестящую комбинацию, вполне достойно Книги рекордов Гиннеса.

...Если человек вышел из дому и направился на любовное или деловое свидание, хлынувший дождь не остановит его. Он либо наденет плащ, либо раскроет зонт. Он прекрасно понимает, что дождь отменить нельзя. Но выбор остается – либо переждать дождь под навесом, либо вернуться домой, либо “перехитрить” его своим зонтом и продолжать идти к своей цели. Ждать, возвращаться домой – значит опоздать, обмануть надежды того, кто тебя ждет... Иными словами – проиграть... Отец не любил проигрывать. Его болезни были для него тем самым неотвратимым дождем, который он пытался перехитрить “лекарственным зонтом”. Господи! Сколько лекарств он принял за свою жизнь! Он напоминал мне некий мчащийся к финишу автомобиль с избытком неисправностей от длительной эксплуатации, когда нет времени остановиться и сделать ремонт. В таких случаях все чинится на ходу, не сбавляя скорости. Но обязательно в таких случаях наступает момент, когда ломается все сразу, в одночасье... Жизнь отца была именно такой отчаянной гонкой, и однажды его организм, его “автомобиль”, не выдержал.

Есть люди, которые обвиняют Гелю в том, что она, мол, позволяла ему пить, курить, жить в таком сумасшедшем ритме, что она должна была его сдерживать, следить за ним, отправлять в санатории и больницы. Так говорят люди недалекие, которые не знают ни моего отца, ни Гелю. Отец не вынес бы никаких ограничивающих условий – это его унижало, это выбивало из-под его ног пьедестал победителя, а не побеждать для него было подобно смерти. Геля – великая женщина, потому что она понимала отца, совершая ради него непосильный для женщины подвиг – она жила с отцом в ЕГО ритме, в ЕГО условиях, в тех условиях, которые ему были необходимы.

Я восхищаюсь ею!

Не знаю другого человек, кроме Гели, кто бы мог попасть в отцовский “пейс”, как говорят ипподромные наездники, кто бы мог зацепиться за него на дистанции... Маме моей, при всей любви к нему, это не удалось. Пытался и я пару раз “посоревноваться” с ним – не получилось... Году, по-моему, в 78-м отец предложил мне поехать с ним в Ленинград (кажется, это был Ленинград... а может быть, и Москва... – не отцовская у меня память) на командное первенство СССР. Я обрадовался – во-первых, с отцом еду, а во-вторых, предполагал “оторваться” слегка от учебы, от проблем. Поселились мы вместе в одном номере гостиницы, и я сразу включился в сумасшедшую гонку. Подъем в половине седьмого, быстрое забрасывание в желудок чего-то, оставшегося от вчерашнего ужина в номере, грамм пятьдесят утреннего коньяка, разбор сыгранной партии, подготовка к очередной... Сплошное марево из сигаретного дыма. Папуля мой, склонившийся над доской, что-то бормочет, что-то резко передвигает на доске. Сигарета во рту как структурная часть лица – лоб, глаза, нос, рот, сигарета... Сигарета заканчивается, автоматически берется новая... Потом игра, потом обеду-ужин с коньяком, потом гости: либо мы – в гости, либо к нам – гости. Снова спиртное, уже не обязательно коньяк, бесконечные расспросы, отцовы изящные, непременно остроумные ответы... Он никогда не мог ответить просто, односложно. Он должен был красиво состричь. Большинство от него были в восторге. Ему намеренно задавали вопрос в надежде услышать остроумный, парадоксальный, афористичный ответ. Отвечая, отец буравил взглядом спросившего, как бы ища в его глазах оценку только что сказанного. Но некоторых это напрягало, и были люди, которые говорили, что беседы с Талем их утомляют. Кстати, такие люди быстро становились отцу неинтересными.

После всего, уже глубокой ночью, либо мы сажали кого-то в машину, либо провожали нас. А затем опять подъем в половине седьмого... “Гусевич, кинь взгляд в холодильник. Что там осталось от королевского пиршества?”

Не надо забывать, что в шахматном смысле это был один из его самых высоких пиков...

«...Шахматная судьба Талья во многом может быть объяснима его чисто человеческими особенностями. Пытаясь понять перепады в игре Талья, причины его фантастического взлета и столь короткого пребывания на шахматном троне, многие ссылаются на его здоровье. Конечно, это могло иметь значение, но не решающее. Шахматы сегодня, как и любая другая область человеческой деятельности, для высшего успеха требует полного самоотречения. Отдал ли Таль всего себя, без остатка, шахматам? Вряд ли. Щедро, безмерно одаренный человек, эпикуреец по натуре, он не желал отказываться от многочисленных радостей даже ради шахмат, в фантастической любви Талья к которым сомневаться не приходится. Никто за всю историю шахмат не становился чемпионом мира так быстро, как Таль. Огромный талант вознес его на самую вершину в рекордно короткие сроки. Для того, чтобы вторично пройти этот путь, нужно было бы “пролить много пота и крови”. Таль не умел да вроде бы и не хотел этого делать. Находясь всю жизнь в атмосфере непрерывного и всеобщего восторга и обожания, Таль привык к триумфам, но к триумфам немедленным. Готовиться к успеху исподволь, годами, в кабинетной тиши – это занятие не для Талья. Наоборот, в разгар подготовки к самому ответственному соревнованию рвануться на блицтурнир в другой город, просидеть три часа в аэропорту, схватить первое попавшееся такси, под восторженные приветствия болельщиков появиться в турнирном зале с опозданием чуть ли не на целый час и, триумфально заняв первое место, стремительно вернуться в Ригу – в этом весь Таль. Легкий в общении, щедрый на дружбу, артистичный, он порой, похоже, получает большее удовольствие от пресс-конференции после победного турнира, чем от самого турнира. Талю мало просто занять первое место, ему важно занять его с блеском, мало просто выиграть партию, ему нужно выиграть для этого хоть полкомплекта фигур. Наполеон когда-то учил своих маршалов: “Нельзя добиться успеха, если наносишь удар каждым пальцем руки отдельно,

ее нужно сжимать в кулак". Таль не сконцентрировал весь свой замечательный талант на одном поприще, для этого ему пришлось бы отказаться от всего остального. Но тогда это был бы уже не Таль. В его шахматной жизни все не запрограммировано, зыбко, неустойчиво, непредсказуемо...»

*Н. БОРИСОВ  
("64", 1980 г.)*

Я человек не слабого десятка, но меня хватило на три дня, и я почувствовал, что наступает конец. На четвертый день я сказал: "Папуля, ты меня извини. У меня много дел, институт пропускаю, мама там одна, Надя ждет..." "Мне жаль, Гусеныш, что ты меня оставляешь одного, — сказал он. — Я надеялся, что мы с тобой славно проведем пару недель".

Предложи он сегодня пожить с ним в номере не пару недель, а всю оставшуюся жизнь — посчитал бы для себя величайшим счастьем. Я болтался бы рядом с ним, как преданная собака, дышал бы его сигаретным дымом, не спал бы вместе с ним сутками, делал бы вид, будто понимаю, какое "хулиганство" он позволил себе в "староиндийке", сыгранной накануне, я и сам курил бы наравне с ним, и выпивал бы наравне с ним, и засыпал бы от истощения всех ресурсов, как и он, в кресле гостиничного холла...

Но я вру — все равно бы не выдержал, моих физических сил не хватило бы. Сдался бы на третий день... Да и никогда он мне больше не предложит... По крайней мере, в ЭТОЙ жизни...

...В некоторых семьях рождение первого ребенка становится переломным моментом во взаимоотношениях родителей. Они как бы “взрослеют”. Гулящие папаши становятся домоседами, а если и позволяют себе гулять, то только с ребенком. В легкомысленных мамашах расцветает наконец в полной мере материнский инстинкт, они умнеют, ребенок начинает их занимать больше, чем муж с его “проделками и забавами”, и возникает то самое мудрое динамическое равновесие, на котором держится семья.

Бывает и по-другому: жена лишь номинально считает себя мамой, ребенок — для нее обуза, она боится не догулять уходящие молодые годы, и у нее появляются дополнительные претензии к мужу, который, как ей кажется (а может, и не кажется), взвалил на нее все родительские обязанности, а сам продолжает жить в свое удовольствие. Если жена еще и генетическая неряха и неумеха, то совместная жизнь вскоре превращается в ад, состоящий из вороха непостиранного белья и пеленок (я имею в виду то время, когда советский народ еще не знал, что такое памперсы), завалов немытой посуды, обедов и ужинов на скорую руку, всухомятку... И среди всего этого снует туда и сюда полуопустившаяся, неприбранная, в вечном халате еще недавно симпатичная женщина. Конфликты в такой ситуации неизбежны, муж либо начинает тихо спиваться, либо находит себе утешение на стороне...

В нашей семье рождение Геры привело к третьему варианту. Настоящей мамой я почувствовала себя не сразу. Поначалу мне хотелось, чтобы именно у Миши проявились отцовские чувства. Казалось, что Гера “примагнитит” его к себе, а стало быть, и ко мне... Но Миша оставался таким, каким был. Гера, повторяю, привлекал его время от времени как нечто забавное, неизвестно откуда взявшееся существо,



как возникший по ходу партии побочный вариант, с которым необходимо считаться, но который не заслуживает жертвы фигуры. Просто у чемпиона мира по шахматам появился сын. Гера, Булочка, Гусь... А его Саська стала королевой-матерью... Кстати, именно так Миша и сказал: “Саська! Ты теперь не просто моя королева – ты моя королева-мать!”

Что касается меня, то после рождения Герочки мое генетическое чистоплюйство превратилось в настоящую паранюю. Я гонялась за каждой мухой, за каждой пылинкой, не спала ночи, отслеживая момент, когда Герочка становился мокрым, чтобы сменить пеленки; не сводила глаз с часов, чтобы не задержать кормление... При этом я довольно быстро не только вошла в прежнюю форму, но и приобрела – так мне казалось – нечто новое, что превратило меня из молоденькой девушки в очень интересную женщину. Я успевала часто посмотретья в зеркало и с удовольствием отмечала в себе качественные перемены.

Я не требовала от Миши обязательного постоянного внимания к сыну. Я быстро поняла бесполезность таких требований. Он иногда брал Булочку на руки, “гулюкал” с ним, целовал в попку, обнюхивал от темечка до пяточек, потом клал его в кроватку и мгновенно уходил в свое “измерение”, опять становясь “загадочным гением Талем”, для которого переставал существовать весь остальной мир, который жил и мыслил в параллельном пространстве из черных и белых квадратов, в пространстве, где ему не было равных, где победа была естественной и необходимой, где поражение воспринималось с изумлением, словно неожиданное падение споткнувшегося бегуна, далеко оторвавшегося от основной группы, падение, в результате которого его настигали и обходили...

Мне было обидно только одно: почему Миша, называя меня королевой, относясь ко мне в определенные моменты как к королеве, получая от меня все, что мог получить любимый мужчина, растворяясь во мне весь без остатка, как может растворяться мужчина в любимой женщине (говорю это с полным основанием, потому что врать Миша не умел ни в

обыденной жизни, ни в интимной), почему при всем этом он позволял себе увлечения и связи с женщинами, которые королевами не были и которых он королевами не считал? Меня не утешали его неуклюжие объяснения. Меня, признаюсь, не убеждали и разумные доводы Иды по поводу того, что Мишенька — не от мира сего человек, что не следует придавать значения шалостям гения, для которого я все равно остаюсь главной и единственной женщиной, потеря которой для него явится катастрофой и пагубно отразится на его шахматной карьере. Я слушала, кивала головой, но понимала и предчувствовала: моя ревность, мое эгоистическое женское начало рано или поздно разорвет порочный круг, однако искренне молила Бога, чтобы это произошло как можно позже, потому что я этого боялась и не хотела... И все же...

«...Нелегко стать чемпионом мира по шахматам, но еще труднее защитить это почетное звание... Как же случилось, что Таль в этом году играл вяло и неуверенно?! Я думаю, что в первую очередь он недооценил Ботвинника. В теоретическом отношении Таль был подготовлен также недостаточно хорошо, и, кроме того, его физическая подготовка оставляла желать лучшего. В большинстве партий после 4-го часа игры Таль выглядел очень усталым и зачастую делал решающие ошибки.

...Очень немногие верили в победу Ботвинника, и сам Таль первую половину матча играл слишком беззаботно. Я думаю, что для этого матча большое значение имел исход 3-й и 7-й партий. И не только потому, что они были выиграны Ботвинником, а потому, что Ботвинник противопоставил агрессивной игре Таля такую же острую игру. После того, как Талю удалось выиграть 8-ю партию, он, по-моему, сделал большую психологическую и тактическую ошибку. Несмотря на то, что Таль несколько дней болел, в 9-й партии он играл слишком азартно, избрал очень рискованный вариант и, естественно, был наказан. Это поражение, как видно, сильно подействовало на Таля, и этим можно объяснить его неуверенную игру в обеих последних партиях...

...Что еще можно сказать о Тале? Он упорно сражался до последнего момента и красиво проиграл. Нужно отметить, что он был не в лучшей спортивной форме и что ему не хватает опыта, особенно в эндшпиле. Но, обладая огромным дарованием, Таль, конечно, устранил свои недостатки. Кто знает, может быть, он будет победителем турнира претендентов?..»

*Г. ШТАЛЬБЕРГ, главный арбитр матч-реванша  
(“Правда”, 13 мая 1961 г.)*

После матч-реванша Мишу положили в республиканскую больницу. Он лежал, разумеется, в отдельной палате со всякими “почестями”. В один из дней, когда я пришла к нему, я застала в палате средних лет мужчину достойного вида с ежикообразной стрижкой. Они играли в шахматы. Миша представил нас друг другу. Я не буду впредь называть его имя и фамилию. Зачем?.. Скажем так — он был весьма правительственным человеком... Назовем его “министром”... Пусть будет так...

Он встал, поцеловал мне руку, сказал, что очень рад познакомиться, а я для себя сразу отметила, что смотрит он на меня не только как на жену Михаила Таля... Любая женщина это всегда чувствует. Я знала, что нравлюсь мужчинам, даже как-то сказала Мише: “А ты знаешь, что на меня заглядываются?” “Конечно! — ответил он. — Я даже знаю, почему. Ты красивая, чистая, непосредственная, и твоя доброта видна за версту. Почему бы в тебя не влюбиться?”

“А почему бы им действительно в меня не влюбляться? — думала я не слишком самокритично. — Я красивая, я стройная, я добрая... К тому же и жена Михаила Таля... В жизни никому ничего не сделала плохого. Никому не завидую, а если и завидую, то, например, такой, как Барбара Стрейзанд, или такому, как Лучано Поваротти... Я завидую человеческому таланту, завидую здоровью... Хотя бы потому, что всю жизнь страдала чудовищными головными болями, от кото-

рых не только я лезла на стену, но и Миша, потому что не знал, как мне помочь...”

Они поиграли в шахматы, потом мы сидели, о чем-то говорили, а когда я стала собираться домой, он тоже поднялся... Возле больницы его ждала машина. Он подвез меня домой, открыл дверцу и помог выйти. А потом вдруг сказал: “Можно я Вас поцелую в щечку?” “Пожалуйста”, – ответила я.

В тот день я навела у Роберта все справки о нем. Оказалось, что кроме того, что он был “министром”, он был еще и одним из лидеров шахматной общественности... И недавно развелся с женой...

Забегая вперед, скажу, что Роберт, будучи человеком практичным, очень скоро начал использовать мое “женское обаяние” применительно к “министру”. Просила у него необходимые для Миши лекарства, через него доставала путевки в санаторий. Благодаря ему был устроен на работу Яша. Как-то позвонила “министру”, не помню по какому делу, и секретарша (ее звали Мария) сказала мне: “Его сейчас нет. Он просил передать, что через два часа ждет Вас у себя в кабинете”. Принял он меня очень торжественно, секретарша приготовила кофе, а когда я уходила, он сказал: “Знайте, Салли, двери моего кабинета для Вас всегда открыты. Выполнить любую Вашу просьбу – для меня высшее наслаждение”. Через несколько дней я снова появилась в “министерстве”, и Мария мне сказала: “Когда Вы приходите, у него совершенно другое настроение. Он буквально расцветает...”

Потом я стала встречаться с ним на улице. Сначала мне казалось, что встречи эти носят случайный характер. Но очень скоро поняла, что это не совсем так. Я возвращалась домой после репетиции, и вдруг возле меня останавливалась машина. Из машины выходил элегантный “министр”, целовал мне руку, говорил, что весь день сегодня он думал обо мне, и (это ж надо!) такая приятная случайная встреча... Он приглашал меня в кафе выпить чашечку кофе, дарил цветы и каждый раз сокрушался: “Почему Вы никогда не пригласите меня на спектакль с Вашим участием? Вся Рига говорит о Вас как об актрисе!”

Я понимала, что слышу всего лишь необходимый комплимент с его стороны, но мне, не скрою, было приятно. Я утверждалась в правильности выбранного мною пути, особенно на фоне того, что Миша по-прежнему упрямо настаивал на моем уходе из театра... Короче говоря, стало абсолютно ясно, что “министр” проявляет ко мне внимание совсем не только как к супруге Михаила Таля... Это взбадривало мое женское начало. Мне было небезразлично, что за мной ухаживает такой интересный, весьма неординарный “взрослый” мужчина (разница в возрасте, как выяснилось позже, составляла между нами восемь лет), но ни о чем другом, кроме того, что я нравлюсь этому мужчине, я не думала. Мне, конечно, еще не приходило в голову, что именно с его участием разорвется тот самый порочный круг, о котором я уже говорила...

Мишу к тому времени выписали из больницы без четкого диагноза, и он уехал в Москву на турнир.

... Через некоторое время Ида мне вдруг сообщает, что у Миши появилась новая поклонница, что она киноактриса, женщина необыкновенной красоты, что она фанатично влюблена в шахматы, что во ВГИКе, где она училась, ее постоянно видят за шахматной доской, что она страшно увлечена Мишей... Рассказывает мне Ида обо всем этом с каким-то необъяснимым восторгом, но вновь просит не обращать серьезного внимания, потому что у Талья должны быть поклонницы, и это вполне нормально... Мне не составило большого труда быстро найти подтверждение словам Иды.

Не стану сейчас говорить об этой женщине ни плохо, ни хорошо. Я не знаю, что с ней. Но в тот момент я закусила удила... Мои прежние “ревности” и подозрения не шли ни в какое сравнение с тем, что я пережила в тот период. Я заочно возненавидела Л. Не считаю уместным и этичным сегодня называть ее имя и фамилию... К моим чувствам примешивалась жалость к самой себе: она красивая, она талантливая, она такая, она сякая, а я-то что? Золушка? Замарашка? Ася-

хромоножка? Я плакала, подогревала себя, злилась, готова была отомстить, но я ни разу во время телефонных разговоров с Мишей не задала ему ни единого вопроса об Л. А он, естественно, сам ничего мне не говорил, кроме того, что скачет по мне и по Булочке, что ждет не дождется, когда снова увидит нас... Сейчас я понимаю, что Миша ничего не пытался скрывать от меня, не собирался меня обманывать. Просто он считал это для себя совершенно нормальным явлением, тем самым “побочным вариантом”, который неожиданно возник в партии.

Я даже думаю, что он иногда не делал разницы между жизнью и шахматами. Шахматы были его жизнью, деревянные фигурки под воздействием его таланта и фантазии становились одушевленными, походили на людей, а люди, окружающие его, были шахматными фигурами, которые передвигались по своим полям, диагоналям и горизонталям, которыми можно было жертвовать, которые защищались или нападали, которые должны были приводить его к победе, потому что иначе не могло быть... Поэтому любая фигура, проявлявшая вдруг самостоятельность, вызывала у Миши искреннее изумление. Когда я (уже впоследствии) сказала ему, что он меня предал и променял, он лишь улыбнулся: “Саська! Ты моя главная и самая потрясающая фигура. Таких, как ты, нельзя разменивать! Спроси у Гуфельда. Он говорит, что разменять Салли — это все равно, что разменять чернопольного слона в “староиндийской”!”

Я была слишком молода и самолюбива, чтобы понять все это. Но даже сегодня, когда я “повзрослела”, могу сказать абсолютно четко: даже если бы я и поняла, все равно мое начало, мое существо такое положение вещей не приняло бы никогда. Не судьба мне, видимо, чувствовать себя в жизни вторым номером... В свое время стечение обстоятельств прибило нас с Мишей друг к другу. Стечение других обстоятельств привело к тому, что наша взаимность дала трещину. Поначалу трещина казалась несущественной. Он еще мог сделать шаг ко мне, я — к нему, но процесс уже стал необра-

тимым, не зависящим ни от него, ни от меня. Было ощущение, что еще можно преодолеть разделяющую нас полынью вплавь, потом на лодке, потом мы уже с трудом могли различать друг друга, потом перестали друг друга слышать... Потом осталась возможность исключительно телефонной связи, потом можно было навещать друг друга только с помощью самолетов...

Но чем дальше мы отдалялись, тем мучительней осознавали, что находимся на разных концах некоей пуповины, которая растягивается бесконечно, но которую никто не в состоянии перерезать. И ничего нельзя поправить, и остается только боль от тяжелой констатации. И еще обезболивающее утешение: “моя Саська”... “мой Миша”... “Она с кем-то, но все-таки и со мной”... “Он с кем-то, но все-таки и со мной”.

Ко всему еще арестовали и посадили Роберта — о его виновности и не могу, и не хочу судить. Это было знаменитое “дело Розенблюма” — шефа торговли Латвии. Миши в Риге не было. Утром в дверь квартиры позвонили. Роберт открыл дверь, потом вбежал в мою комнату, сбивчиво сказал, что его забирают. Шумное это было дело. Роберт мог “загнать на всю катушку”, но в итоге отсидел что-то около полутора лет... Положение в доме осложнилось. Роберт содержал всю семью. На моих руках трехлетний Гера, Ида, квартира. Все дорогие “тряпки”, которые привозил Миша, я начала распродавать. Сбережений никаких. Роберт не умел копить деньги. Он был очень отзывчивым и широким человеком. Другим и знакомым, которые уезжали из Союза, он упаковывал ящики с вещами, сам платил за багаж, за контейнеры с мебелью (“рижская мебель”!), а иногда и за билеты... Уже потом, через несколько лет, он сказал мне как-то: “Если бы эти люди отдали хотя бы часть денег, я был бы миллионером...” Мой заработок — 120 рублей в месяц. Я распродала практически все.

А Миши нет. Он на Кубе. Там турнир памяти Капабланки. Гонорар им заплатили в сертификатах, на которые он ку-

пил для Л. каракулевую шубу (“доброжелатели” не дремали и сразу же донесли мне об этом).

Возвратившись с Кубы, Миша пробыл в Риге несколько дней. Все это время он был возбужден, рассеян, бесконечно звонил в Москву. Я, разумеется, догадывалась, кому он звонит... Было видно невооруженным глазом, что он находится в состоянии сильного увлечения, чтобы не сказать больше... Я старалась выглядеть холодной и безразличной, хотя удавалось мне это с большим трудом... Он томился в Риге несколько дней и вскоре вылетел в Москву. И я знала, к кому он полетел. Я знала, что благодаря Л. у него появилась компания актерских кинознаменитостей: Рыбников, Ларионова, кто-то еще... Они каждый день собирались, и Миша тратил на это общество все деньги, которые у него были. Я не хочу сказать что-то отрицательное ни в чей адрес. Я далека от того, что Мишу обирали. Я знаю, что Миша тратился в собственное удовольствие и не без желания погарцевать перед Л. Но факты оставались фактами: я в Риге продавала вещи, чтобы как-то свести концы с концами, а Л. в Москве получала от Миши дорогие подарки, которые он делал, не задумываясь...

Положение мое было скверным как в моральном отношении, так и в материальном. Я вызвала из Вильнюса отца. Он приехал и сказал: “Миша твой муж. Он гений. Ты должна это понимать и ко всему относиться разумно. Ты не должна провоцировать его на развод, но ты и не должна ждать, пока он к тебе вернется. Ты должна вернуться к самостоятельной жизни. Ты ведь певица. Я помогу тебе и как отец, и как директор Вильнюсского эстрадного оркестра. Герочка пока поживет в Вильнюсе с мамой, а там посмотрим... Только не разводись с Мишей... Все образуется...”

Я и не собиралась разводиться с Мишей, я не собиралась снова выходить замуж. Я должна была думать о себе и о своем ребенке. Я знала, что в этом мне никто не поможет, даже влюбленный в меня до беспамьятства “министр”, под напором которого я в конце концов сдалась, опустошенная, разочарованная и одинокая...



Так бывает в жизни... Две главные силы бросают женщину в омут измены: первоначальная измена любимого человека (именно ЛЮБИМОГО, потому что человек, которого ты не любишь, становится тебе безразличен со всеми своими похождениями и ты не чувствуешь себя обиженной и преданной им) и возникающая после этого моральная пустота и полная незащищенность. Эмоциональная женщина готова в такой момент на все. Любительницы приключений часто просто пользуются представившимися обстоятельствами. Но если рядом оказывается умный, тактичный, любящий тебя мужчина, то обманутая женщина решает свою судьбу в пользу этого мужчины и через некоторое время становится увлеченной им по-настоящему или уговаривает себя в том, что так оно и есть...

Миша остался как бы за занавесом, и мне долгое время не хотелось этот занавес приоткрывать. Он же почувствовал себя уязвленным, и, я думаю, мои взаимоотношения с “министром” сыграли свою роль в окончании его затяжного романа с Л.

Полагаю, что моя история сильно его ранила, но, клянусь, ничего нарочито предумышленного с моей стороны в этом не было. Мы с “министром” не афишировали свои встречи, но и не скрывали их, во всяком случае, до поры до времени. Он был человеком властным и влюбленным в меня очень. Плюс к этому прибавьте его положение в Латвии, возраст и вам станет ясной подоплека его ненормальной ревности ко мне. Его “профессура” следила за мной днем и ночью. Меня фотографировали, когда я входила в отель, меня фотографировали, когда я выходила из отеля. Я не могла зайти в ресторан или в кинотеатр незамеченной. Я шла по улице и оборачивалась, как шпион в детективном фильме. Геру мог остановить на улице “министерский” шофер и спросить, “где мамочка?”, “кто звонил мамочке?”... “Министр” был просто болен мною. Он звонил Мишиной маме и интересовался, где я. И если Ида говорила, что я, например, в ванной,

он звонил через пятнадцать минут и спрашивал у нее, почему я так долго не выхожу из ванной.

Полюбила ли я его? Наверное, да... И боялась... Хотя понимала, что ничего плохого он мне не сделает. Его ревность и подозрительность объяснялись не только положением в высших сферах, не только его властолюбивым характером, но и тем — это было главное, — что он страшился потерять меня. Наши отношения в глазах всей Риги были эпатажными, скандальными. Обойти стороной коммунистическое ханжество и пуританство “министру” не удалось. Он стал “пятном” на Центральном Комитете Коммунистической партии Латвии. Ему начали “грозить пальчиком”. Его вызвали в ЦК и сказали: “Вы не будете ни членом ЦК, ни министром. Вы будете никем, если не прервете порочащую коммуниста связь. Ваша “дама” — официальная жена Михаила Таля”. О случившемся он сам мне рассказывал... Он предлагал мне развестись с Мишей и выйти за него замуж, но мне это было не нужно — при всей привязанности к нему, при всем том, что он делал для меня, я понимала, что брак наш не будет счастливым, потому что мы, как говорят, из разных команд. Он — каста, латыш, член ЦК, а я — актриса-еврейка без роду, без племени... Меня устраивало все как есть. Скажу больше — мне так было удобно...

Его подогрело еще и то, что я оставалась вполне самостоятельной женщиной. Я прошла конкурс в Вильнюсский джаз-оркестр и быстро стала его ведущей солисткой. Начались гастроли по Союзу. Я стала прилично зарабатывать, и единственной проблемой у меня стала проблема Геры. Во время гастролей по Средней Азии он оставался с Идой, но Ида очень серьезно заболела, и ее приятельница, которая работала в санатории для детей-сирот, забрала Геру туда.

Гера провел в санатории три мучительных для себя месяца. А на меня тем временем обрушились несчастья. В Ашхабаде меня пришлось срочно оперировать. Лежу в больнице, сорок градусов жары, вентиляторы, сквозняки... Подхватываю в послеоперационном периоде двустороннее воспаление легких и чуть не отдаю Богу душу...

Меня еле поставили на ноги, и я прилетела в Ригу. Сердце мое облилось кровью, когда я приехала к Герочке в санаторий, когда я увидела его остриженного наголо, в каком-то арестантском сером халатике... Он плакал, он вцепился в меня и умолял забрать оттуда. И я забрала его. Втроем — моя мама, Гера и я — мы провели пару месяцев на Черном море, потом мама забрала Геру в Вильнюс. Во время отдыха на юге меня познакомили с Эдди Игнатьевичем Рознером, знаменитым на весь Союз “Эдди Рознером”. Он прослушал меня и пригласил в свой не менее знаменитый оркестр. Начались гастролы с Рознером...

С Идой я поддерживала, как уже говорила, очень теплые отношения. Как родная дочь. Да и она меня иначе как “доченька” не называла. При каждой возможности посылала с маршрута деньги в Ригу. Роберт к тому времени вышел из тюрьмы. Он пришел в ужас, узнав о Мишином романе с Л. А всю его подозрительность и некоторое недоверие, которое я ощущала до его ареста, как рукой сняло. Он проникся ко мне отеческой любовью и нежностью и сохранил такое ко мне отношение до самой своей смерти.

В паузах между гастролями я приезжала в Вильнюс, где меня уже “доставал” “министр”. Звонил и он сам, и его секретарша, и его шофер: где я, с кем я, что делаю, куда пошла... Довольно часто он навещался в Вильнюс. Привозил подарки для меня, для родителей, для Геры. Появлялся в дверях со свертками и протягивал свободную руку Гере со словами: “Привет, сыночек!” Гера совал ему босую ногу и говорил: “У меня есть папа, для которого я сыночек. А ты кто такой?” Гера его не переносил... Много лет спустя, уже в эмиграции, Гера и я сидели в каком-то берлинском кафе, и он сказал мне: “Я тебе скажу в первый и в последний раз в своей жизни. Я тебя безумно люблю и всегда безумно любил. Я терпеть не мог того, кто к тебе прикасался или даже просто здоровался. Так я тебя любил. Я тебе больше никогда этого не скажу...”

А к Мише “министр” проникся неприязнью, чтоб не сказать больше... Однажды в мое отсутствие он приехал в

Вильнюс с какой-то своей сотрудницей, и они весь вечер допытывались у мамы, не собираюсь ли я вернуться к Мише... Не перестаю удивляться такому типу мужчин! Их эгоизм не сравним ни с чем! Они хотят сохранить все, что имеют! Они не готовы к потерям...

Коммунисты все-таки уломали моего “министра” и заставили его в порядке партийной дисциплины жениться на дочери видного партийного деятеля. Что-что, а методика связывания “своих” людей по рукам и ногам у них была четко отработана.

Так “министр”, уже будучи женатым, теперь тайно поддерживал связь со мной и пуще всего боялся, не собираюсь ли я возвратиться к Мише. Более того, он через некоторое время сделал мне в Риге квартиру, чтобы я была, что называется, “на глазах”... Папа мой серьезно волновался, чтобы в один прекрасный день меня не переехала машина, потому что “госпожа министерша” была в курсе дела и это, разумеется, ей не нравилось. Кроме того, бросало тень и на ее отца... Папа даже сказал мне: “Ты сама должна каким-то образом все прекратить, иначе кагебешники в один прекрасный день тебя уберут... Как говорил Сталин, “нет человека — нет проблемы””.

Но я об этом, конечно, не думала и не придавала папиным словам никакого значения, а потому заняла типично страусиную позицию. Я старалась плыть по течению. Пусть все как будет, так и будет.

Миша вел себя, как всегда. Он часто звонил Иде и интересовался мной и Герой, говорил, что скоро опять придет в Ригу, что очень соскучился. Когда я приезжала на улицу Горького и он по телефону попадал на меня, объяснял мне в любви, говорил, что никого лучше меня нет, что ждет не дождется своего приезда в Ригу... Но ни слова об Л. Слово ее не существовало. И я никак не давала ему понять, что вся эта история меня в некотором роде интересует. Иногда он приезжал на пару дней, но меня не заставлял. Ида при всей своей любви к Мише уже с первого дня Мишиного пребыва-

ния начинала жаловаться: “Господи! Хоть бы он скорей уехал! Чтобы кончился этот сумасшедший дом! Бесконечные пионеры! Бесконечные журналисты! В доме от дыма хоть то-пор вешай!”

Миша знал, что у меня есть “министр”, но сам у меня о нем никогда не спрашивал – старался узнать у Иды. Он никак не мог себе представить, чтобы “его Саська” могла принадлежать кому-то еще. Один из его друзей сказал мне в шахматном стиле: “Салли! Когда Миша по-настоящему понял, что у тебя есть “министр”, у него было состояние, словно он “зевнул фигуру” и не понимает только, каким образом. И он ни себе, ни тебе этот “зевок” не простит”. Тут мы были квиты – я тоже не могла ему простить Л. Потом я к его увлечениям стала относиться спокойно, как бы со стороны, хотя и неприятно было... Л. же до сих пор вызывает во мне бурю отрицательных эмоций. Понимаю, что все это было давно, однако ничего поделать с собой не могу...

Можете представить, что творилось в моей душе, когда через некоторое время после возвращения Миши с Кубы Ида мне вдруг сказала: “Доченька... Миша хочет приехать из Москвы в Ригу с Л. Он хочет познакомить ее с нами и с тобой в первую очередь... Ты должна понять его состояние. Ты ведь умница... Мы должны принять ее как просто очень хорошую Мишину знакомую...”

“Я понимаю, – сказала я. – Я сделаю все, чтобы доставить Мише удовольствие”.

И вот они приехали. Мишину “хорошую знакомую” поселили у тети Гани... Кстати, ее жизнь вполне могла бы стать основой целого романа. Тетя Ганя, будучи в Париже, вышла замуж за талантливого французского инженера, который в один прекрасный день заболел идеей приехать в СССР, чтобы бескорыстно помогать советским людям строить коммунизм (немалое количество западных интеллигентов стали жертвами этой идеи). И они приехали в Советский Союз. В конце тридцатых годов его арестовали как иностранного

шпиона и расстреляли, а тетя Ганя отсидела семь лет как жена “врага народа”...

Вечером того дня, когда Л. приехала в Ригу, Миша привел ее на улицу Горького. Он вел себя как ни в чем не бывало — был ласков со мной и нежен, шутил, просил, чтобы я рассказывала Л. смешные эпизоды из нашего путешествия на Кюрасао. Л., по-моему, была изумлена таким теплым приемом. Я интересовалась ее работой, ее родителями, друзьями... Миша усадил меня за рояль. Я играла и пела, а он подпевал мне вторым голосом. Миша был счастлив. Мне казалось, что от этого собственного сюжета он получал большое удовольствие. Он напоминал режиссера, который точно угадал распределение ролей в пьесе... Потом Миша пошел проводить Л. к тете Гане. Я была уверена, что он не вернется, но Ида сказала: “Если Мишенька возвратится — мы победили...” Миша вернулся. Мы провели с ним одну из незабываемых ночей... Но Ида не угадала — “мы” не победили... На другой день он вместе с Л. улетел в Москву. Когда он приехал с Л. во второй раз, к тете Гане перевели меня и Герочку — нас просто некуда было деть.

Не знаю, кто бы в это время мог мне позавидовать, положение становилось сложным, напряженным... Однажды, когда в перерыве между гастроями я жила у Иды, неожиданно приехал Миша. И вечером, когда все были дома, вдруг позвонил “министр” и позвал меня к телефону. Миша, естественно, по моему растерянному виду понял, кто звонит, и вышел в другую комнату. “Министр” долго объяснял мне в любви, а потом сказал: “Скажи, что ты меня любишь...” “Ты же знаешь...” — попыталась я уйти от ответа. Выдержала паузу и повесила трубку. Миша вошел в комнату и вопросительно взглянул на меня. Я не нашла ничего более умного, чем сказать: “Кто-то не туда попал...” Миша как-то неловко улыбнулся и сказал: “По-моему, это я не туда попал...”

В тот момент мне захотелось, чтобы навсегда исчезла Л. из его жизни, чтобы исчез “министр” из моей жизни, чтобы

остались только мы вдвоем — Миша и я... Может быть, о том же подумал и он... Однако трещина, возникшая между нами, превратилась в пропасть, на тот момент уже вряд ли преодолимую...

Между тем Мишина связь с Л. начала давать не очень-то приятные результаты. Миша ни от кого ничего не скрывал, но даже если бы и скрывал, ему вряд ли бы удалось — слишком уж заметной фигурой был в те годы Михаил Таль. В какой-то день его пригласили в ЦК и сказали примерно так: “Михаил Нехемьевич, Вы всемирно известный человек, но Вы живете в Советском Союзе, стало быть, Вы — советский человек. У Вас есть жена, ребенок, а все вокруг, в том числе и на Западе, судачат о том, что у Вас есть и любовница. Можно сказать, официальная любовница. Вы уж как-нибудь разберитесь. Или продолжайте жить с Вашей женой и забудьте любовницу, или, на худой конец, разведитесь с женой и узаконьте свои отношения с любовницей. Это, конечно, менее желательно, но к Вам лично мы отнесемся с пониманием”. Миша, как он сам мне потом говорил, в довольно резкой форме сказал, что это не их дело и что он будет продолжать жить, как он хочет. “Ну, что ж, Вам решать”, — сказали ему в ЦК... Вышел он из здания ЦК “невъездным” — ему очень скоро дали понять, что на предстоящий межзональный турнир он не поедет.

Я узнала об этом от Иды, и она попросила меня приехать к ней, чтобы посоветоваться, как быть дальше... Я сказала, что готова сделать все, что от меня зависит... Если, конечно, что-то от меня зависит. Ида намекнула, что, мол, неплохо было бы подключить к этому делу “министра”. Я пообещала, хотя, как Вы понимаете, говорить с ним на эту тему мне не хотелось. Она попросила меня написать письмо в ЦК, что Миша ни в чем не виноват, что все происходит из-за меня, что я плохая жена, что я ему давно изменяю и вообще не хочу с ним жить.

Мне было очень тяжело составить такое письмо, но я сама себя убедила: если письмо поможет Мише, я его напишу, чего бы это мне ни стоило. Письмо я написала, и мы отпра-

вили его в ЦК. Мишу вызвали туда повторно и показали письмо... Я могу только представить, что он испытал, прочтя мое “покаяние”... Они заявили, что письма моего им недостаточно, и если он хочет продолжать быть с Л., то должен развестись со мной.

Миша приехал в Ригу. Он был в полном смятении. Таким растерянным я его никогда ни до, ни после не видела. Он впервые почувствовал свою зависимость от обстоятельств, которые в нормальном обществе не должны были иметь никакого отношения к его участию в межзональном турнире и к его личной жизни вообще... Но Ида придумала невероятный авантюрный ход, даже не ход, а целую комбинацию! В духе Мишиных шахматных хитросплетений... Я, именно я, подаю в районный народный суд заявление о разводе с моим мужем Михаилом Талем, и когда после этого его пускают на межзональный турнир, я забираю заявление обратно (!). “Мама! — сказала я (несмотря ни на что, я называла Иду мамой, потому что любила ее и относилась к ней, как к маме). — Я все готова сделать для Миши. Надо подать заявление — подам, но зачем забирать его обратно? Если он любит ту женщину, если он хочет быть с ней... Развод развяжет ему руки...” “Нет, — сказала она. — В том-то все и дело, что Мишеньке это не нужно, и он не собирается с тобой разводиться... Вот увидишь — вы снова будете вместе...”

В суд мы пошли вместе с Мишей. По-моему, больше всех нервничал Роберт. Во-первых, он был против Л., во-вторых, очень переживал за Геру. “Вы не думаете о ребенке, — говорил он, — а Гера все чувствует. Вы сделаете из него калеку...”

После того, как у нас приняли заявление, Миша обнял меня и сказал: “Спасибо тебе, Саська... Поверь — у нас все будет хорошо... Но что бы ни случилось, я никогда в жизни этого не забуду”.

Вскоре в одной из рижских газет появилось объявление о разводе и заметка “Салли Ландау подала на развод с Михаилом Талем”. Объявление было отправлено в ЦК, и Мишу выпустили на межзональный турнир. Честно говоря, я не



уверена, что именно этот шаг решил дело в пользу Миши... Думаю, не обошлось без вмешательства “министра”, с которым я, конечно же, поговорила... Помню, он поморщился и сказал: “Я постараюсь все уладить, но не ради него, а ради тебя...” И когда Миша уехал, Ида заставила меня забрать заявление обратно...

До сих пор не могу понять, как я могла при всей своей гордости и самостоятельности написать то письмо, почему я, не желая того, сначала подала, а потом забрала заявление о разводе? Видимо, я находилась во власти семьи Талья, к которой, несмотря ни на что, была очень привязана... Но скорее всего мои поступки были результатом воздействия невероятно сильных, неземных эманаций Миши...

Я не сильна в шахматах, чтобы не сказать резко. Я так и не смогла к ним пристраститься, а делать вид, будто я разбираюсь в них, как это делали многие “шахматные жены”, не могла.

Миша как-то ночью разбудил меня и сказал: “Саська, давай я научу тебя играть в шахматы!” Он разложил прямо на постели доску, расставил фигуры и до утра пытался мне объяснить, как ходит ладья, как ходит ферзь... Но если правила передвижения фигур по горизонтали, по вертикали и по диагонали я кое-как усвоила (хотя смысла этих передвижений так и не уловила), то конь привел в полное оцепенение... К утру даже упрямый Таль сбросил доску и сказал: “Бог с тобой! Имеешь право. Из всех фигур твоя фигура — самая ценная и самая универсальная... Когда мой ферзь таким изящным красавцем доминирует по всей доске и все остальные фигуры восхищаются и пугливо на него поглядывают, я говорю сам себе: это не ферзь. Это моя королева Саська!”...

Я ничего не понимаю в шахматах, но в логике человеческих поступков кое-что соображаю... Так мне кажется. И все же Мишины выпады, его безумные атаки, его неожиданные отступления, его бешеные приливы нежности и любви, за которыми вдруг следовали необъяснимые исчезновения, до сих пор остаются для меня за гранью понимания...

«Хотите знать, как побеждает Таль? Очень просто: он рас-  
полагает фигуры в центре и затем их где-нибудь жертвует...»

*Гроссмейстер Д. БРОНШТЕЙН*

Я продолжала работать с Эдди Рознером, у Миши турниры, у него роман с Л. И вдруг во время моих гастролой в Крыму звонит из Риги Ида и говорит, что неожиданно приехал Миша и когда узнал, что я в Ялте, попросил собрать ему чемодан, положить туда плавки, заказал билет до Симферополя и вылетел в Ялту... Чтобы я была готова...

Интуиция у Миши была фантастической. И тогда она, конечно, себя проявила...

В Ялте “царь” (так звали в оркестре Рознера) по отношению ко мне проявлял повышенную активность... Миша вел себя как ни в чем не бывало, как будто не было никакой Л. у него, как будто не было никакого “министра” у меня... Он прилетел как соскучившийся по любимой женщине мужчина. Он дарил цветы (он всегда “угадывал” цветы), делал подарки. Он влюбил в себя весь оркестр, он подружился с “царем”... Во второй вечер Мишиного пребывания “царь” вышел на сцену с шахматной доской и сказал: “Сейчас перед вами выступит феноменальная Салли Таль, муж которой – феноменальный шахматный гений Михаил Таль сидит в зале!” По знаку Рознера Миша поднялся со своего места, и зал устроил ему овацию.

Во все те несколько дней, что Миша был в Ялте, он закатывал пышные обеды и ужины и всякий раз поднимал бокалы за меня... Рознер однажды предложил выпить за здоровье шахматного короля, на что Миша тут же вставил: “Я – экс-король, а вот у моей королевы никогда не будет частички “экс”...” В последний день его пребывания он вдруг сказал: “Саська, я завтра улетаю... По-моему, “царь” положил на тебя глаз... Имей в виду”.

— Это все, что ты хотел мне сказать? — спросила я.

— Я сказал тебе не все слова, — пропел он.

Так и не знаю, для чего Миша вдруг прилетел тогда в Ялту...

И снова он провалился в неизвестность. Через некоторое время Рознер в присутствии своей жены как бы невзначай говорит мне, что вот, мол, по телевидению выступала Л. и заявила достаточно определенно, что считает себя женой Таля, и они скоро собираются оформить свои отношения официально... В телефонном разговоре со мной Рона (жена Гиграна Петросяна) сказала, что, вроде бы, интервью с Л. прошло по киевскому телевидению... Вот тогда-то я и написала ему довольно жесткое письмо, в котором о разводе уже просила я. Написала, что мне надоел его затянувшийся “сеанс одновременной игры” со мной и с Л., что я сделала все, о чем просила меня Ида, и что сделала все это исключительно ради него, что на сей раз инициатором развода должен стать именно он, чтобы я не превратилась в посмешище, что таким образом он распутает и свой, и мой клубок, и это принесет облегчение нам обоим... Ответ от Миши пришел довольно быстро... То второе его письмо, как и первое, я храню у себя...

Когда мне становится совсем тошно, я перечитываю Мишины письма... Пытаюсь войти в его состояние на тот период и понять его... Я думаю, что ко времени второго письма отношения между ним и Л. уже были не безоблачными. То ли его постигло разочарование, но он никому не хотел в этом признаваться, в том числе и самому себе. То ли Л. стала намекать на то, что неплохо было бы узаконить их отношения...

Во всяком случае, по его письму можно об этом догадываться. Но свое отношение ко мне и к нашей дальнейшей жизни он выразил довольно четко, и я не сомневаюсь в его искренности. Повторяю: врать он не умел... Вот это письмо:

“Милая Саська!

Наконец-то я сумел вырваться, чтобы хоть немножко поговорить со своим Рыжиком. Самочувствие довольно противное – почти все время приходится лежать с грелкой в обнимку...

Саллинька дорогая, мне очень хочется, чтобы ты приехала в Ригу, об очень многом надо поговорить. Что получилось – это ведь нужно, пожалуй, только для истории...

Дорогая моя, я уверен, что партия подходит к концу. Обе стороны испытывают практически нескрываемое глухое раздражение друг против друга, и мне уже часто доводится слышать: “Боже мой, какая я была дура! Так хорошо жила, имела квартиру, платья, туфли, любимую (!!)) работу, а ты, нехороший и т.д., и т.п., отнял у меня все. Надо о себе думать”.

Ладно, пускай думает, я не очень возражаю. Ты же понимаешь, Саллинька, для всего нужно известное время, а оно сейчас работает на нас – на тебя, в первую очередь. Хотелось бы побывать на твоём концерте, но проклятый процесс практически приковал меня к Риге довольно надолго. Да, Саська, что за нелепость с телепередачей?! Такой передачи не было и не могло быть. Как-то в Киеве один корреспондент пытался проинтервьюировать Л., но я его достаточно быстро отшил. А подобной передачи вообще не было хотя бы потому, что последние 17 дней я не выходил из номера гостиницы, доезжая только до турнирного зала и садясь (ты же понимаешь, что один) за шахматный столик. Церемониал закрытия турнира вообще не передавался по телевидению, кроме того, все гроссмейстеры в этот момент были холостыми (или временно женатыми, так сказать, на подножном корму). Приедешь, все расскажем друг другу.

Саллинька, будь хоть чуть осторожнее с “царем”. Помнишь, ты еще в Крыму предсказывала, что так будет, а если все идет по прогнозам, то в этом стоит, может быть, усомниться. Не надо увеличивать число побед – в твоих безграничных возможностях никто (и Миська тоже) не сомневается.

Дорогая моя, очень соскучился, и по тебе, и по любимой Булочке. Хоть бы только мама поправилась основательно, так чтобы он мог жить в Риге.

Крепко целую тебя, жду известий, а больше всего встречи.  
Привет подданным Могучего Рознеровского царства.  
Еще целую. Твой Миска".

После этого письма я окончательно перестала понимать, что происходит, и в очередной раз приняла решение плыть по течению... Рознер все время говорил, что сделает мне прописку и квартиру в Москве, чтобы я спокойно могла жить вместе с Герой. Шло время – никакой прописки и квартиры не было. Но даже если бы он и сдержал свое обещание, жизнь в Москве представлялась мне довольно смутно хотя бы потому, что не представляла себе, с кем будет оставаться мой сын во время гастролей... Не таскать же его с собой, как это делают артисты цирка! Переезд же в Москву моих родителей выглядел абсолютно нереальным.

Вскоре я ушла от Рознера и опять стала работать в Вильнюсском оркестре... В это время в очередной раз начались Мишины телефонные “бомбардировки”. Он звонил мне отовсюду, и несколько раз я слышала в трубке пьяные выкрики Л. Многие мне говорили, что Л. пила неводержанно. Повторяю, Миша был очень широким человеком. Себе из-за границы привозил только шахматную литературу и редкие книги. На все остальные деньги он привозил подарки и “тряпки”. На тот период гонорары шахматисты получали приличные, и он возвращался из поездки с несколькими чемоданами. Л. всегда встречала его в аэропорту и главное внимание уделяла багажу... У меня есть основания считать, что именно так оно и было. Если же я ошибаюсь, пусть она простит меня... Я не знаю, как они расстались. Я не располагаю подробностями их скандального финала, но мне рассказывали шахматисты и жены шахматистов, что после очередного турнира он скрылся от нее в гостинице “Москва”, что она разыскала его, подняла на ноги весь этаж, рвалась к Мише в номер. Кончилось тем, что Миша открыл дверь и выставил в коридор все чемоданы, с которыми он приехал. После этого

она исчезла из Мишиной жизни... Я не знаю, что с ней стало потом. Да мне и не интересно.

В Литовском оркестре я проработала недолго. Запомнились ленинградские гастролы. После одного из концертов я приехала в гостиницу — в холле меня ждал Миша. У него был вид провинившегося ребенка, который понимает, что сделал что-то нехорошее, но уверен, что его простят.

Он прилетел из Москвы неожиданно, и я испугалась — случилось ли что-нибудь... “Саська! — сказал он. — Не волнуйся! Все в порядке! Я проголодался, а в “Астории” хорошо кормят, и я заказал столик на двоих”.

— Ты приехал поужинать со мной, чтобы позавтракать с ней в Москве? — спросила я.

— Нет, — сказал он со своей обезоруживающей улыбкой. — Просто я сказал тебе не все слова...

Спустились в ресторан. На столике стояла корзина с потрясающими цветами. Приготовилась к очередному длительному разговору на знакомую тему... Некоторое время мы ужинали молча. Лишь время от времени обращались друг к другу с дежурными вопросами. Очень плохо играл оркестр. Я видела, что Миша прилично налегает на коньяк и хмелеет на глазах... Видимо, он набирался храбрости. Потом вдруг он пригласил меня танцевать. “Миша, — сказала я, — неужели она научила тебя танцевать?” Он сделался серьезным и сказал: “Рыжик! Ты же знаешь — я не люблю культивировать остаточный образ... Единственный образ, который я культивирую, это твой образ”...

И он стал клясться, что с Л. покончено навсегда, что мы оба похожи на два потерпевших крушение корабля, что единственный шанс на спасение — помочь друг другу добраться до нашей гавани, что не надо искать причины крушения, что надо поскорей заделать пробоины и продолжить совместное плавание... Он умел говорить очень красиво, и я верила в его искренность, но сказала, что вообще устала от этого бессмысленного утомительного плавания, что хочу спокойно жить на берегу одна... “Одна?” — спросил он многозначительно. “Тебя интересует только это?” — спросила я.

“Я не хочу, чтобы ты жила одна. Я хочу, чтобы ты была со мной...” “Мишенька, — сказала я, — я тебя очень любила и продолжаю тебя любить, но все зашло слишком далеко и уже не имеет значения, по чьей вине... Если ты считаешь, что виновата я, пусть будет так... Но я не хочу брать ход назад, чтобы вскоре не начать переживать из-за твоего нового увлечения. Мы с тобой остаемся близкими людьми. У нас растет замечательный сын...” Не выдержала и расплакалась. Миша стал гладить меня, утешать... “Миша, на нас уже обращают внимание”. “Пусть завидуют”, — сказал Миша...

Он взял с собой в номер коньяк и часов до двух умолял меня все забыть и начать заново... И как ни больно мне было за него, за себя, за Геру, я сказала: “Миша, мне надо спать. У меня завтра с утра репетиция”.

И тут у него начался дикий приступ. Он побледнел, лицо его покрылось испариной, в глазах появилась та самая неземная жуть, которая делала его страшным... “Мне очень-очень больно”, — еле вымолвил он. Я в испуге выскочила в коридор, разбудила дежурную и попросила вызвать “скорую”. “Скорая” приехала достаточно быстро. Медики взглянули на Мишу, на недопитую бутылку коньяка, переглянулись между собой, мол, все понятно, и занялись делом... Через минуту Мише сделали инъекцию понтопона, и ему стало легче... Он вяло улыбнулся, извинился перед врачами за доставленное беспокойство, потом сказал: “Прости, Саська... Это мои дела... Ты же знаешь...” И попросил, чтобы я положила ему на лоб свою руку. Один из медиков, заполняя карточку, спросил: “Вы тот самый Таль?!” “А что, есть другой Таль?” — тут же отреагировал Миша. “Вам надо почки проверить, — сказал врач. — Понтопон — дело опасное...” Они побыли еще минут десять, взяли у Миши автограф и уехали...

Утром Миша улетел в Москву, и мы с ним не виделись после той встречи достаточно долго.

В том сентябре Герочка пошел в школу. А я снова поменяла место работы и перешла в Рижский эстрадный оркестр.

Надо было как-то решить проблему Геры. Теперь уже нельзя было его подкидывать во время моего отсутствия то к маме в Вильнюс, то к Идиной сестре Гане, нельзя было и поручить его целиком Иде — она была очень больна, и болезнь прогрессировала... Я снова поселилась вместе с сыном в квартире на улице Горького, чему Ида и Роберт были несказанно рады... После истории с Л. они стали относиться ко мне особенно хорошо. Ида бесконечно повторяла, что умрет спокойно только тогда, когда увидит, что мы с Мишей снова вместе... “Ты не должна бросать Мишу, доченька, — говорила она. — Ты не представляешь, что ты для него значишь...”

Миша “атаковал” меня еще один раз после моего возвращения с гастролей в ГДР. Я вышла из поезда и увидела на перроне Мишу. Он был в костюме, при галстуке, с букетом как всегда роскошных цветов. Увидев меня, он подбежал ко мне, обнял и торжественно вручил цветы... На перроне было много встречающих, среди которых в сторонке стоял с мрачноватым видом шофер “министра”... Я поцеловала Мишу и спокойно сказала: “Мишенька, извини, меня встречают...” И уехала к “министру”...

Ида мне потом рассказала, что это она уговорила Мишу встретить меня с цветами на вокзале (она до последнего часа не теряла надежду на наше примирение), что Миша вернулся домой крайне расстроенный и сказал: “Мурочка, я сделал все, как ты хотела... Видимо, Саська меня никогда не любила”.

И уж не знаю, то ли мне в отместку, то ли в порядке самоутверждения, то ли это было вполне искренним Мишиным увлечением, но довольно скоро Миша привел в дом вторую Л. ... И начался период совершенно странный и непонятный для “нормального обывателя”. Я с Герой живу в одной комнате, Миша со второй Л. — в салоне, плюс Ида, плюс Роберт, плюс Яша — все в одной квартире. Вторая Л. была молоденькой, очень даже симпатичной девушкой. Насколько я не терпела первую Л., настолько я — странное дело — спокойно относилась ко второй Л. Гера с ней общался вполне нормально, называл ее “тетя” и никогда ни о чем меня не спра-



шивал... Не знаю, понимал ли он, что происходит, или был еще ребенком... Не могу объяснить, почему я не уходила. Скорее всего потому, что в то время мне некуда было уйти. Может, и потому, что дома все-таки бывала мало — оркестр часто гастролировал... А может быть, из-за Иды, которая просила только об одном — не покидать ее дом. “Вы с Мишей, — сказала она мне однажды, — можете кусать друг друга сколько вам угодно, пока не перебеситесь... Но знай, доченька, если вы с Герочкой уйдете, вы приблизите меня к могиле...”

Мудрая Ида, прожившая сложную, неординарную жизнь, понимала, что если я покину квартиру на улице Горького, это будет означать конец моим взаимоотношениям с Мишей, для которого я (в этом она была убеждена) значила очень много...

Не знаю, сохранила бы я душевное равновесие и рассудительность в этой непростой ситуации или нет. Думаю, что нет... Но у меня был душевный “громоотвод” — “министр”, в то время он был мне опорой...

Разумеется, история со второй Л. тоже закончилась и тоже не без приключений... В Москве у них произошла окончательная размолвка, и Л. наглоталась снотворных таблеток... Правда, это было сделано в присутствии большого количества ее друзей, так что ее спасли... Для Миши это “самоубийство” стало последней точкой в их романе — он ее оставил...

У одного из наших общих с Мишей друзей был день рождения, и он отдельно пригласил меня и пригласил Мишу, который в это время находился в Риге. Второй Л. уже довольно давно не было на Мишином горизонте. На вечере он много выпил, естественно, довезла его домой я, и дома он опять умолял меня все забыть и остаться с ним... Но я опять сказала “нет”...

Он остался совсем один. Это угнетало его. Он считал себя побежденным, но не мог смириться... Кто-то из grossмейстеров сказал мне однажды: “Когда Миша попадает в безнадежное положение, разумом он это понимает, но не верит в

то, что он, Таль, попал в “безнадегу”. Он начинает искать спасительную комбинацию, убежденный в том, что такая комбинация есть — ее нужно лишь отыскать. И он вроде бы находит ее... Но при всех красотах и жертвах комбинация оказывается с “дыркой”, и тогда поражение для него еще страшнее и унижительней, чем если бы его физически, лицом вниз, тащили по асфальту”.

Почувствовав себя в интимном отношении одиноким и проигрывающим, Миша “клюнул” на одну из самых прозрачных, страшных, принижающих его достоинство комбинаций...

Но перед тем, как перейти к этому, я думаю, переломному периоду в Мишиной жизни, да в какой-то степени — и в моей, я хочу коснуться некоторых обстоятельств, которые той кошмарной истории предшествовали...

...У меня начались трения во взаимоотношениях с “министром”. Он женат. Его жена прекрасно осведомлена о моем существовании. Она устраивает мужу жуткие скандалы. Она чуть ли не надевает ему на голову телевизор, когда показывают программы с моим участием. Мое имя склоняется во всех падежах с самыми нелестными прилагательными. Мне это, понятно, совершенно не нужно, и я прихожу к выводу, что нам следует расстаться, вернее, все прекратить, потому что так будет лучше и для него, и для меня. Он, с одной стороны, понимает, что дальше так продолжаться не может, но, с другой стороны, в силу своего повышенного эгоизма, никак не хочет меня отпустить... Он говорит, что ему ничего от меня не надо, кроме сознания того, что я есть и меня можно увидеть. Он строит для меня кооперативную квартиру, куда я и переезжаю с улицы Горького. Сбывается мечта Геры, который всегда хотел, чтобы мы с ним жили отдельно. Ида и Роберт мой переезд воспринимают с чувством большой обиды. Ида понимала, что с моим уходом шансов на возвращение к Мише уже практически нет. Тем не менее и я, и Гера продолжали часто бывать в их доме и относились к нему, как к родному... Роберт и Ида, со своей стороны, звонили мне по несколько раз в день... Руководителем Рижского эстрадного

оркестра в это время становится главным дирижер радио и телевидения Латвии Алнис Закис, знакомство с которым довольно быстро перерастает в другое качество. Поразительно, что Закис, будучи убежденным антисемитом и националистом, без памяти влюбляется в стопроцентную еврейку, оставляет ради нее свою семью и переезжает в мою квартиру к большому недовольству моего сына. Впрочем, об этом недовольстве я лишь догадывалась — Гера, как и Миша, всегда отличался тактичностью.

Наши отношения с Мишей стали более уравновешенными и уже напоминали отношения между братом и сестрой, хотя звонил он мне по-прежнему часто со всех концов земли... Он заставил меня познакомить его с Алнисом. Сказал, что такую “драгоценность”, как я, он не имеет права отдавать первому встречному. Придя к нам, он воспользовался тем, что Алнис вышел в кухню, и сказал: “Любимая, если бы ты была шахматисткой, а я был бы твоим тренером, то обратил бы твое внимание на то, что ты выбрала неверный план...” В это время Алнис возвратился, и Миша, как ни в чем не бывало, запел “я сказал тебе не все слова”... Допели они эту песню дуэтом...

Уникальным человеком был Миша! Казалось бы — я с Алнисом. Он мне в тот период как муж... Только что неофициальный. Миша это прекрасно понимает. И он, однако, уважительно относится к Алнису, а меня по-прежнему считает своей единственной и главной в мире женщиной — своей Саськой... Мы уезжали с Алнисом на гастроли в ГДР, и Миша пришел на вокзал меня проводить. У Алниса руки были заняты сумками и чемоданами так, что его скрипку несла я. Миша подошел ко мне, взял скрипку и понес! Народ перемигивается — все всё знают, а для Миши это совершенно естественно: раз Саське тяжело или неудобно — надо ей помочь... И какая разница, чья скрипка — Алниса Закиса или Давида Ойстраха...

Забегая вперед, хочу сказать, что Миша впоследствии интересовался каждым мужчиной, который оказывался со

мной рядом. Он хотел знать об этом человеке все что можно... Он как бы давал мне свое благословение... Борис Спаский как-то сказал мне: “Салли, по-моему, Миша просто мучает тебя...” Но он не мучил — он хотел быть рядом. А его из всех моих “мужей” не терпел, по-моему, лишь “министр”, да и то только потому, что видел в нем реального соперника... Алнис очень симпатизировал Мише, видел его неординарность и говорил про него: “Таль — не еврей. Таль — гениальный шахматист”.

Ида даже после моего отъезда не оставила мысль о моем возвращении и в разговорах каждый раз непременно касалась Мишиной темы: “Миша одинок”, “Миша переживает”, “Миша болен”, “Миша опять в больнице”...

Но я и сама переживала за Мишу, как за самого близкого и родного человека. Я знала, как он мучается со своими никем не распознанными болезнями, и делала для него все, что было в моих силах. Не по долгу — по движению собственной души. Даже если бы меня очень вынуждали, я бы не могла поступать иначе... Конечно, мысли о нашем возможном примирении и восстановлении семейных отношений посещали меня, но всякий раз в моем представлении оживали с новой силой и Л., и вторая Л., и я знала, что, уступи я Идиным и Мишиным настояниям, — через некоторое время появится новая Л. или Ф.... Я с этим смириться никогда бы не смогла. Может быть, в этом мое несчастье... Не знаю...

И вот на таком фоне летом семидесятого то ли семьдесят первого года на Рижском взморье Ида знакомится с интеллигентной грузинской старушкой, которая оказывается бывшей княгиней... Кстати, со слов Иды, когда она сказала Мише, что познакомилась с бывшей княгиней, Миша тут же отреагировал: “Мурочка! Княгиня не может быть “бывшей”, как не может быть “бывшим” сенбернар... Это порода, Мурочка, а не должность”.

В общем, Ида знакомится с престарелой грузинской княгиней, они премило разговаривают о том, о сем, и княгиня рассказывает Иде про свою внучку — очаровательную де-

вочку, родители которой трагически разошлись, и которую фактически воспитала она. Девочка, по словам княгини, фантастически талантлива, тонка, прекрасно воспитана, пишет потрясающие стихи, и вдобавок — с примесью еврейской крови по линии прабабушки. Короче, “девочка-ангел”. Но у нее большая трагедия: она встречается с чемпионом Грузии (не то по боксу, не то по борьбе), влюблена в этого чемпиона, а он категорически отказывается на ней жениться... Вот такую историю про грузинскую “Русалку” рассказывает княгиня Ида... Плюс к этому предъясняется и фотография девочки: красotka, статуэтка, с огромными синими невинными глазами... Эту историю я тут же узнаю от Иды... Ида вообще никогда от меня ничего, вплоть до тонкостей, не скрывала, но на сей раз улавливаю в ее рассказе некоторое педалирование на деталях: интеллигентная, несчастная, талантливая, хорошо воспитанная, такая же одинокая, как Миша... Я выслушала, но ничего не сказала — бывают истории и похлеще...

А у Миши продолжают страшно болеть почки — происхождения с “неясной этиологией”, как говорят врачи... И вот его направляют в Тбилиси к знаменитому урологу-хирургу. Тот настаивает на операции, Мишу кладут в больницу — в лучшую грузинскую клинику... В это же время Ида созванивается с грузинской княгиней, и они разрабатывают грандиозный план — познакомить “Русалочку” с Мишей... В Иду словно влили какой-то живительный эликсир! Она в приподнятом настроении — может быть, наконец-то Миша найдет свое счастье, может быть, они полюбят друг друга, может быть, и поженятся... Тем более, что Мишу Грузия готова была носить на руках и относилась к нему, как к Богу... Ида даже сказала, что ради Мишиного счастья и благополучия вся семья, если надо, готова переехать в Грузию, где и для Яши найдется работа...

Знакомство осуществляется. Ида рассказывает мне, что девочка безумно понравилась Мише, а он понравился девочке, что она навещает его в больнице и посвятила ему свои стихи. Ида счастлива — слава Богу, появилось чистое, неис-

порченное существо, не случайная знакомая, вином не злоупотребляющая, не алчная женщина, которая мечтает только о том, чтобы занять богатого знаменитого мужа и использовать его “на всю катушку”... Ида по телефону читает мне девочкины стихи, посвященные Мише, в которых она пишет, что никогда в жизни не встречала еще человека такого очарования, такого юмора, такого ума и воспитания... Короче говоря, зная Иду, зная Мишу, зная Роберта, я понимаю, что они коллективно начинают “выдувать” огромный красочный “мыльный пузырь”, именуемый любовью... И вот в один прекрасный день звонит мне Роберт и говорит: “Салли, дорогая... Мы должны увидеться. У меня к тебе серьезный разговор”. Я согласилась, предложила ему приехать, а сама подумала: “Наверное, опять нужно что-то сделать для Миши”.

— Даже не знаю, Саллинька, как тебе объяснить, — сказал Роберт. — Ты же в курсе того, что у Миши появилась девочка, которую он очень любит, и она его очень любит... Возможно, мы все скоро переедем в Грузию... Я прошу тебя, чтобы ты согласилась дать Мише развод... И знай, что для нас ты всегда останешься любимой Саллинькой и Герочка — нашим внуком...

— Роберт, я согласна. Как поступим?

— Миша сейчас в больнице... Ты должна сделать все сама... Я договорюсь с судьей, и она “провернет” это дело быстро и без лишнего шума...

На следующий день я пришла в суд. В маленькой комнатке никого не было, кроме женщины-судьи. Я сказала: “Я хочу развестись с Михаилом Талем”. Роберт договорился четко. Она задала мне один-единственный вопрос: “Какую фамилию вы хотите оставить? Таль или Ландау?” — “Ландау”.

Из здания суда я вышла разведенной женщиной. Я шла домой и думала: “Поженились мы с Мишей мгновенно и без шума. Мгновенно и без шума развелись... И все”. Грустно мне стало...

Я пришла в сквер напротив оперного театра, села на скамеечку и часа два пребывала в полной прострации...

Через некоторое время узнаю, что по грузинскому телевидению показывали пышную свадьбу, помпезную... В чисто грузинском стиле: Грузия выдает свою молодую талантливую красавицу-дочь за гения человечества, великого Михаила Таля... Говорили, что какой-то ретивый грузинский журналист раскопал факты из генеалогического древа Таля и нашел в Мише грузинские корни...

Невеста была в фате, как полагается. Миша был чуть ли не в смокинге... В общем, вся необходимая атрибутика... С песнопениями, с регистрацией во Дворце бракосочетаний... И что чуть ли не сам Мжаванадзе (по-моему, он тогда был первым секретарем ЦК Компартии Грузии) благословил молодую чету. Я снова вспомнила нашу "свадьбу", и мне стало, по-женски, немного обидно. Потом я представила себе весь этот процесс с песнями и плясками, представила Мишу в смокинге, пытающегося изо всех сил сохранить торжественный вид, и мне стало смешно: никак он не монтировался со всем этим...

Известно, что в университете Миша защищал диплом по книге "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова. Он знал их сочинения почти наизусть, мог цитировать целые главы... И вот, словно по чьей-то издевке, сам оказался в центре сюжета, который своей трагикомичностью мог украсить любое произведение Ильфа и Петрова...

Через какой-то месяц после состоявшегося торжества звонит мне Ида в полной растерянности: "Если ты сейчас же не приедешь, я не знаю, что со мной будет!" Беру такси и еду. И вот что узнаю от Иды... Молодожены приезжают в Москву, вселяются в гостиницу. Все прекрасно, все изумительно. Только через несколько дней молодая жена вдруг исчезает. Уходит по какому-то делу и не является ночевать... Миша в панике. Он разыскивает ее, он поднимает на ноги милицию... Молодая жена возвращается через сутки и говорит, что из Тбилиси приехал ее друг, которого она всю свою жизнь горячо любила, который поклялся, что тоже ее любит и хочет забрать и жениться, и хочет ребенка, и что если она не будет принадлежать ему, наложит на себя руки... Короче

говоря, она сообщает, что возвращается к нему, мол, прости — так получилось, и не держи, пожалуйста, зла... Меня одолевает нервный смех, а Ида плачет, для нее случившееся — настоящая трагедия. Она не сомневается, что все было продумано заранее: зная психологию грузинского мужчины, юная грузинка выходит замуж на Таля, свадьбу показывают по телевидению на всю Грузию; и грузин чувствует себя посрамленным и клянется, что отобьет свою возлюбленную не то что у Таля — у самого Дьявола, если “на принцип пошло”...

Ида проклинает коварную девочку за то, что она использовала Мишу, чтобы вернуть себе своего чемпиона по боксу (или по борьбе?)... Ида говорит, что ей звонил Миша, что он все ей рассказал, что он находится в шоке от происшедшего и не имеет понятия, как все это произошло...

Насколько я знаю, Миша ни с кем и никогда не касался в разговорах “грузинской” темы. Он исповедовался только матери. Совершенно очевидно, что он получил удар, от которого долго не мог оправиться. Можно только догадываться, сколько боли принесла ему эта рана... Ведь Миша был непогрешим до наивности и самолюбив до крайности... Он пошел на красивую комбинацию в типично “талевском” стиле, он не считался с жертвами, он уже слышал звуки победных фанфар, и вот за один ход до долгожданного триумфа ему говорят: “Очнитесь, маэстро! Вам — мат!”...

“Доченька, — сказала мне Ида, — она просто его убила! Я не знаю, как он перенесет эту историю, и не представляю, чем ему помочь... Он сказал, что еще раз убедился в том, что чище и преданней, чем его Саська, нет в мире женщины... Что ты думаешь по этому поводу?”

Я поняла, что в очередной раз мне сделано предложение вернуть все в прежнее русло... Я знала, Миша будет счастлив вновь соединиться со мной. Но я чувствовала себя уставшей и не способной больше ни на какие подвиги и самопожертвования. И, может быть — главное, тогда особенно осознавала, что Миша всегда будет оставаться “гениальным Талем”, и любая женщина, которая с ним окажется рядом, будет все-



ми восприниматься как “жена гениального Таля”. Но я, в силу своего характера, такой покладистой, готовой на все и согласной на все “женой гения” быть не могла, как бы я ни относилась к Мише, как бы я его ни любила...

Миша вновь оказался в вакууме. Какое оно было, это одиночество такой личности, как Таль, романтической и глубокой, представить трудно, скорее даже невозможно...

Через очень короткое время в рижском шахматном клубе он познакомился с Гелей, которая стала его женой и была таковой до самой Мишиной смерти и которая остается таковой сегодня — преданной, страдавшей, любившей и любящей, матерью его дочери Жанночки...

Не знаю, что бы с ним стало, каким бы он оставался шахматистом, сколько бы он протянул, если бы не Геля. Геля, будучи намного моложе Миши, всю себя отдала гениальному Талю, понимавшую и чувствовавшую Мишу до тонкостей, до нюансов, поспевавшую за его сумасшедшим ритмом. Позволю себе предположить: в Геле Миша ценил и все то, что хотел получить от меня...

Поначалу Геля как женщина, которая стала Мишиной женой, была мне, можно сказать, безразлична. Я относилась к ней как к очередной жертве очередного Мишиного “завихрения”. Но когда родилась Жанночка, поймала себя на том, что начинаю испытывать нечто вроде ревности... Ревности не как женщины, а, скорее, как матери Мишиного сына. Мне всегда казалось, что как отец Миша не уделяет Гере достаточного внимания. А после рождения Жанночки Гера лишится и этой малой толики... Но я ошиблась. По мере того как Гера рос, возрастала и Мишина любовь к нему. Миша как бы изумился, однажды обнаружив, что его “Гусевич” стал взрослым человеком, с которым можно по-взрослому разговаривать и даже — доверить ему свои чисто мужские тайны, будучи уверенным в том, что эти тайны никогда не станут ничьим достоянием... Он вдруг увидел, что его “Гусевич” стал студентом медицинского института, поступив туда

в 15 (!) лет. Он часто возвращался к теме: “Гусь еще в дебютной стадии своего развития опроверг сомнительную истину, будто природа отдыхает на детях”. К Жанночке Миша тоже сначала относился с умилением и восхищением, как к любимой игрушке, но с годами она затмила в нем всех и вся...

Миша, особенно после рождения дочки, стал настойчиво приглашать меня к себе в гости. Он очень хотел познакомиться со мной. Он говорил мне, какая она изумительная женщина, и был убежден, что мы с ней непременно подружимся. Как-то я зашла к ним, и мы познакомились. Не буду кривить душой — сначала я относилась к ней сдержанно, подчеркнуто вежливо, и, чисто по-женски, отмечала для себя: “это она делает не так и то — не так, я бы делала все по-другому...” А Жанночку полюбила сразу, и не просто как можно полюбить маленького очаровательного ребенка... Я поймала себя на том, что сразу восприняла ее как Герину сестренку, как дочь Миши, как мою дочь... Миша страшно хотел, чтобы между мной и Гелей установились теплые, родственные отношения. Он словно хотел доказать: вот какая чудная у меня Геля! И вместе с тем доказать Геле: вот какая чудная моя Саська!..

Во всяком случае, когда после Мишиных похорон мы пришли в квартиру на улице Горького и молча сидели с Гелей, мне казалось, что мы обе потеряли НАШЕГО Мишу, что ушел он и от нее, и от меня...

Где-то в середине семидесятых годов в Риге был открыт ночной бар на настоящем, по тем временам, европейском уровне. Там пела Айно Балыня и много других известных исполнителей. Была роскошная и разнообразная программа, и меня пригласили в этот бар работать... Деньги обещали значительно бóльшие, нежели те, что я получала в Рижском эстрадном оркестре, и я согласилась — и деньги мне были тогда очень нужны, и потому, что по-прежнему я не могла позволить содержать себя кому бы то ни было. Геру приходилось брать с собой, и с двенадцати часов дня до двух часов ночи он маялся за кулисами. Иногда перед работой мы приходили с

ним к Мише и Геле. Гера приходил в Гелин дом с удовольствием, особенно если Миша был дома.

В ночной бар, где я работала, попасть “с улицы” было невозможно. Надо было записываться заранее, и далеко не у каждого принимали заказ на столик. Бар был всегда оцеплен милицией. Высокопоставленные особы часто устраивали там пышные приемы. Но пренебрегала тогда солистка Салли Ландау какими-то там министрами... А зря. События развивались таким образом, что знакомства с влиятельными людьми вполне могли пригодиться солистке Салли Ландау... Евреи стали покидать Латвию.

В шестьдесят седьмом уехал в Израиль со всей семьей Григорий Ефимович Цыпелинович – администратор ТЮЗа. Вечером, когда на его проводы собралось пол-Риги, он сказал мне: “Салли, а что тебя здесь держит? Уезжай... Вызов мы тебе сделаем... Ради сына уезжай... Здесь “ловить” нечего”. Его слова засели во мне и довольно скоро проросли желанием покинуть Советский Союз. Я плохо понимала, что буду делать за границей без ярко выраженной специальности, но легкомысленно считала, что не пропаду... Тем более, что тому были примеры... Уехала с Эгилом Шварцем популярная тогда Лариса Мондрус, уехала с мужем моя подруга, с которой я работала в литовском оркестре, Вида Вайткуте... Затем – моя самая близкая приятельница Инна Мандельштам... Уезжали многие. Эмиграционная эпидемия поразила и меня...

И я стала думать об отъезде. У меня не было никаких сомнений в том, что Герочка, конечно же, уедет вместе со мной... Как-то в одном из разговоров с Мишей я коснулась этой темы. Он сначала не воспринял мое сообщение, отшутился: “Хочешь уехать с угрозой вернуться обратно?” Это была его расхожая шутка, которая очень нравилась шахматистам. Когда во время партии кто-то делал неудачный ход, Миша часто реагировал на это комментарием: “Пошел ферзем на “a5” с угрозой вернуться обратно”.

Но когда понял всю серьезность моих намерений, сказал довольно жестко: “Дело твое, но Гуся я не отпущу!” Не знаю, как сейчас, а тогда в Советском Союзе было принято – ребе-

нок мог уехать из страны с матерью только при согласии отца. И наоборот. Я неоднократно возвращалась к этому вопросу, но каждый раз слышала от Миши категорическое “нет”.

В ЦК, куда я обратилась, мне сказали: когда вашему ребенку исполнится восемнадцать лет, он станет совершеннолетним, тогда он и решит, ехать ему с вами или нет... Мне оставалось только ждать. Но и после совершеннолетия, как выяснилось, тоже почти все зависело от Мишиного разрешения... А Миша оставался на той же позиции... Гера тоже не хотел уезжать, во всяком случае в тот момент. Он уже был на третьем курсе, у него была девочка — Надя, которую он очень любил, впоследствии она стала его женой. Он не хотел бросать институт, не хотел оставлять свою любимую...

Но идея отъезда завладела моим сознанием довольно сильно, и я решила поехать одна, по крайней мере, сначала одна... Я предполагала оставить Гере квартиру, какие-то деньги, чтобы он закончил институт и потом приехал ко мне. Но благообразный седой военный, беседовавший со мной в ОБИРе, сказал мне с предельной ясностью: “Вы хотите, чтобы Ваш сын стал врачом на наши деньги? Вы думаете, что Советский Союз — кузница кадров для вашего Израиля? Ошибаетесь. Или Вы уезжаете с сыном, или вообще не уезжаете. Решайте”. Когда Гера узнал об этом, он сказал: “Мамуля, я тебя одну не отпущу, даже если мне предстоит отказаться от всего...” Он пошел к Мише, и они пришли к какому-то хитрому соглашению.

Миша сказал ему: “Ты взрослый. Решай сам”. Но собственноручно подписывать разрешение на отъезд Мише не хотелось. Думаю, он не хотел возможных осложнений с “органами”. Не потому, что он боялся за себя, а, уверена, потому, что это могло навредить его шахматам, без которых он не представлял своей жизни... В конце концов его опять могли сделать “невъездным”, тем более у Советской власти к тому времени уже появились новые молодые и более “надежные” фавориты. Миша никогда не был членом партии. После того, как он стал чемпионом мира, ему руководство ЦК Ком-

партии Латвии “мягко” предложило вступить в ряды коммунистов, но Миша корректно отказался, сославшись на слабое здоровье и на сильную загруженность шахматами. Так что боязни быть “исключенным” у него не было...

И все-таки... Они с Герой договорились, что бумага, в которой требовалась Мишина подпись, должна прийти в его отсутствие... Так оно и получилось: пришла повестка, Миши в Риге нет, и отсутствие отказа отца было воспринято как знак согласия. Нам с Герой дали разрешение. К моменту нашего отъезда Миши в Риге тоже не было. Мы уехали, с ним не простившись...

Ида к тому времени стала совсем плоха. Последние дни перед смертью она провела в больнице. Она уже никого не узнавала. Мы с Герой пришли к ней в больницу накануне отъезда. Роберт сказал: “Саська, не заходите в палату. Не травите себя. Она все равно никого не узнает”. “Ну, я хоть поцелую ее, — сказала я. — Мы же завтра улетаем...” Я вошла в палату, взяла ее руку. И вдруг она открыла глаза, посмотрела на меня абсолютно ясным взглядом и произнесла: “Доченька моя... видишь, как все хорошо. Я же тебе говорила: все будет хорошо, а ты не верила... Ты уезжаешь с Герочкой, и там все будет хорошо... Только Мишеньку не оставляй...”

И она закрыла глаза...

На следующий день мы улетели в Москву, оттуда — в Вену. Это было 1 июля 1979 года.

Мы покинули Советский Союз по израильской визе, но ехать в Израиль я не собиралась. В Вене люди сами пытались решить свою дальнейшую судьбу. Моя приятельница, которая к тому времени обосновалась в Дюссельдорфе, просила, чтобы мы приехали в Германию, что все необходимые документы она подготовит... Но я колебалась. После Вены тех, кто не попадал в Израиль, переправляли в Италию. Так произошло и с нами, там я получила письмо от Инны Мандельштам. Инна уже жила в Канаде. В письме она сообщала, что подготовила все бумаги для того, чтобы мы приехали в Канаду. Но здесь свое слово сказал Гера: “Мама, я хочу быть в Ев-

ропе. Папа часто бывает в Европе. Я хочу его видеть”. И мы через некоторое время оказались в Берлине...

Конечно, в качестве переселенцев мы прожили в Вене и в Италии несладкие дни, но все-таки положительные эмоции преобладали. Вена своей красотой меня изумила, а Италия ввергла в настоящий восторг — до сих пор при слове “Италия” я испытываю подъем и радостное волнение... Из Италии до Мюнхена нас везли на машине. Не могу сказать, что я чувствовала себя свободной на все сто процентов. Это пришло значительно позже... Просто ехала и думала: “Ну вот, Салли, ты опять за границей...” И невольно вспомнила те теперь уже далекие и сладостные времена, когда в качестве жены Михаила Таля впервые попала на Запад. Боже! Как же я тогда была счастлива...

Это был 1963 год. На острове Кюрасао проходил турнир претендентов. Он длился около двух месяцев, и на период двухнедельного отдыха гроссмейстеров в курортном местечке было принято благосклонное решение отправить туда жен шахматистов. Разумеется, за их собственный счет. Но, как говорится, и на том спасибо. В те годы поехать за границу, да еще сразу в капиталистическую страну, было для подавляющего большинства советских граждан несбыточной мечтой... И вдруг! Остров с таким романтическим названием! Кюрасао!.. Денег на поездку не было. А в доме во всю стену висела роскошная картина какого-то знаменитого латышского художника, и Роберт принял решение продать картину. Картина “ушла” за 1000 рублей (огромные деньги!). На них я и должна была ехать.

Самолетом голландской авиакомпании мы прилетели в Амстердам. Амстердам покорила меня своей необыкновенной чистотой и удивительно спокойными милыми людьми. Будто попала в рай. Создавалось впечатление, что люди здесь вообще не умирают... Я и предположить тогда не могла, что через много лет Амстердам станет для меня обычным городом, до которого я смогу добираться на своей машине за какие-то полтора-два часа... Но тогда, в первый

мой выезд за рубеж, я никак не могла осознать, что я в Амстердаме (!) — городе, который, как и все остальные зарубежные города, был для меня всего лишь географической точкой на карте.

Было много солнца... Вообще, весь тот период остался в моей памяти периодом сплошного солнца в прямом и переносном смысле слова. Встретил нас высокий импозантный мужчина с аристократическими минерами. Этим мужчиной оказался экс-чемпион мира Макс Эйве. Он беседовал с нами, задавал разные вопросы. На немецком языке. А поскольку в школе я учила английский, то ни одного слова понять не могла и отвечала только “йес” или “ноу”. Часто невпопад... Организовали нам две экскурсии — на бриллиантовую фабрику, которая повергла в уныние всех гроссмейстерских жен, и маленьким пароходиком по водным каналам... Я была завоевана этой изумительной страной и, когда прилетела на Кюрасао, помню, сказала Мише, что очень бы хотела жить в Голландии. Кстати, когда через два месяца мы возвращались с Кюрасао и снова — через Амстердам, нас опять встречал гроссмейстер Эйве. За эти два месяца я успела, как мне казалось, “нахвататься” кое-каких слов на немецком языке, и Эйве сказал Мише: “Когда Ваша жена приехала, она говорила только “да” и “нет” и то по-английски. А, оказывается, она прекрасно говорит по-немецки!” Я была страшно горда похвалой, на что Миша сказал: “Не понимаю, как доктор Эйве смог за два месяца прочитать на “идиш” всего Шолом Алейхема!” Выяснилось, что я говорила с Эйве на “идиш”, который очень похож местами на немецкий...

«...Мы читаем заголовки многих газет различных стран о Тале: “Пират шахматной доски”, “Любитель приключений”, “Шахматная ракета”, “Волшебник из Риги”, “Основатель неопсихологической школы”, “Вихрь из Советского Союза”, “Морфи наших дней”. Проанализируем эти высказывания немного подробнее.

“Пират шахматной доски”. Это – неправильно. Таль не пират, он смелый шахматист, опасен для своих противников, сильно рискует, идет на сомнительные жертвы...

“Любитель приключений”. Этот эпитет несколько мягче, он звучит приветливее: романтик в шахматах. Многие партии Таля пронизаны этим духом...

“Волшебник из Риги”. Под этим, по-видимому, подразумевается трудно понимаемая манера игры, которая с педантичной точностью приводит к цели.

“Шахматная ракета”. Это подчеркивает неслыханный темп, необычайную энергию Таля, решительность...

“Морфи наших дней”. Это высказывание напоминает о шахматном остроумии и блеске Таля, доказательством которых являются многие его партии...

“Основатель неопсихологической школы”. Таль неоднократно заявлял, что он выбирает не самый сильный ход, а тот, который поставил бы противника в более трудное положение...

Какое изобилие характеристик, какая многосторонность! Очевидно, у Таля есть что-то от каждого предыдущего чемпиона мира. От Морфи – шахматный блеск, от Стейница – нечто магическое, от Ласкера – психологический подход, от Алехина – неслыханный темп, от Ботвинника – энергия. Ему не хватает, вероятно, только спокойной рассудительности Смыслова...»

*Доктор Макс ЭйВЕ,  
экс-чемпион мира  
("Огонек", 1960 г.)*

Из всех участников турнира наибольшее впечатление производил юный Роберт Фишер. Здоровенный самоуверенный акселерат, живший в своем собственном мире, производивший (кроме шахмат, конечно) временами довольно странное впечатление. Он был похож на огромного ребенка, к ногам которого родители бросили весь мир и сказали: “Все это, Бобби, твое!” И если жизнь, порой, окунала его лицом в грязь, он изумлялся, огорчался до слез, не понимая, как это



могли с ним, с Великим Бобби, так нехорошо обойтись. Он жил исключительно шахматной жизнью и этой жизнью владел. Ко всему будничному, повседневному он абсолютно не был приспособлен. Но Фишера надо было воспринимать таким, какой он есть, не применяя к нему собственных мерок. К нему надо было привыкнуть, и тогда он оказывался добрым и очень теплым человеком... Впоследствии мы стали прекрасно относиться друг к другу...

Как-то Миша снял висевшую в фойе театра мою фотографию и унес с собой. С этого момента фотография всегда должна была находиться при нем. Как талисман. “Твоя фотография приносит мне счастье”, — говорил он. Однажды, когда Миша улетал в Сочи, впопыхах мы забыли положить в чемодан эту фотографию. И надо же было случиться, что там Миша попал в аварию. Слава Богу, ничего существенного не произошло... Но он потом говорил, что если бы мое фото было при нем, никакой аварии не было бы... Вообще Миша верил в приметы. Когда, уже будучи в эмиграции, я приехала к нему в Брюссель, где он играл в турнире, я была поражена его жутким костюмом, мятой несвежей рубашкой, стоптанными ботинками... И это не потому, что у него не было денег. Деньги на одежду у него, конечно, были. Просто я увидела безразличного к себе человека... И я сказала: “Миша! Если ты намерен пребывать в таком виде, никогда больше к тебе не приеду! Мне стыдно!” И мы вместе с Радко Кнежевичем пошли и купили ему костюм, рубашку, галстук, ботинки и почти насильно переодели Мишу во все новое. В тот день он проиграл партию и был вне себя... “Это все из-за твоего маскарада!” — сказал он. “Мишенька! — ответила я. — Можно подумать, что ты никогда не проигрывал в своем рублище!” “В рублище я проигрываю по своей вине, — сказал он, — а в этом пижонском наряде — по твоей... Чувствуешь разницу?” ...

Но вернусь к Фишеру. Когда Миша показал ему ту самую мою фотографию, Бобби долго восхищался, а потом просто стащил ее у Миши — взял ненадолго и не вернул... Если он заставлял нас сидящими на пляже, то подсаживался, довольно

бесцеремонно отталкивал локотком Мишу и пускался со мной в пространные беседы. Говорил при этом по-русски. Плохо, но по-русски. Поскольку основная шахматная литература выходила в то время в Советском Союзе, он выучил русский язык. Окончил Бобби только четыре класса, и когда я спросила, почему не окончил школу, ответил: “Потому что школа мешала мне играть в шахматы”. Забавный он человек. Однажды местный миллионер повез нас на другой конец острова в какой-то ресторанчик. Фишер сел в машине рядом со мной и включил приемник. Поймал волну, на которой пел какой-то певец, и вдруг стал громко петь вместе с ним. Слуха никакого! Все мимо! Голос чудовищный! А потом сказал мне вполне серьезно: “Если бы я не был великим шахматистом, я стал бы великим певцом”.

«...Однажды совсем молодой Фишер в свободное от турнира время зашел в комнату к Смыслову, великолепный баритон которого всем известен, и начал что-то напевать. Василий Васильевич, очень благожелательный по натуре человек, сказал: “Бобби! У Вас талант!” Эти слова окрылили американского гроссмейстера. И вот через два года Фишер стал всем говорить, как он здорово поет. Во время турнира в Блэде ему устроили маленький розыгрыш. Вечером в клубе, где выступал оркестр с солистами, собрались шахматисты. Кто-то переговорил с конферансье, и вдруг все услышали объявление: “Уважаемая публика! Сейчас перед вами выступит замечательный американский шахматист и певец Роберт Джеймс Фишер!” Тот сначала немножко смутился, но все-таки подошел к микрофону. Пел он... своеобразно. Но зал устроил ему бешеную овацию. Он шел к своему месту, собирая поздравления, и остановился у столика, где сидел Пауль Петрович Керес. И Керес ему сказал: “Вам надо бросать шахматы и переходить на пение”. И Фишер ответил: “Да, я знаю. Но я слишком хорошо играю в шахматы”».

*М. ТАЛЬ*

*(Из интервью, данного  
еженедельнику “64”, 1979 г.)*

Миша относился к Бобби очень по-доброму и с юмором. Рассказывают, как однажды он выиграл у Фишера партию и шулиганил: “Бобби! Ку-ку!” Фишер расплакался, как младенец... Но Миша был первым, кто сказал про него, что он — подлинный гений и будущий чемпион мира...

Вообще, у Миши практически со всеми шахматистами были очень хорошие отношения. Особенно близко он общался с Петросяном, Карповым и Геллером. К Корчному относился корректно, ровно, чего нельзя сказать обо мне — я его недолюбливала.

Безусловно, выделялся на общем незаурядном фоне Пауль Керес. Красивый, уважаемый, вежливый и по-настоящему спортивный. Он прекрасно плавал, и каждый день в восемь часов утра его можно было найти в бассейне... В один из выходных дней, когда все собирались спуститься завтракать, Миша сказал мне: “Иди вниз, поплавай с Паулем Петровичем, позавтракай, а я скоро приду”.

Кончился завтрак. Все загорает в бассейне, нет только Миши и Фишера. Но Фишер бассейном пренебрегал всегда — он просиживал все время в своем номере за шахматами. Прошел час, прошли два часа, три... Миши нет. Несколько раз я поднималась в номер. Миши нет. Руководитель делегации Юра Авербах и официальный “искусствовед в штатском” начали беспокоиться. Послали даже людей на французскую сторону (на Кюрасао были две зоны — голландская и французская). Миши там тоже нет и по-прежнему неизвестно, где он. Прошел обед. Я начала нервничать. Нервничать стали все. Я очень боялась, не случилось ли что-то серьезное — Миша человек больной... Мало ли что... Наступил поздний вечер... Спать никто не ложится — все слоняются по большому гостиничному фойе на втором этаже, и каждый высказывает свою версию...

И вдруг почти в двенадцать ночи открываются двери пресс-центра, который в выходной день не работал и запирался, оттуда выходят два совершенно ненормальных человека с безумными глазами — Миша и Бобби. Миша проходит

мимо меня, по-видимому, не замечая, и поднимается в номер. Выяснилось, что рано утром Фишер уговорил Галя запереться в пресс-центре и “погонять в блиц”, чтобы я не дергала Мишу, не заставляла сидеть в бассейне, не тащила в город... И вот с половины девятого утра до двенадцати ночи они играли. Я не знаю, сколько партий они сыграли, но, по моему, выиграл в итоге Миша...

Те золотые два месяца не смог омрачить своим присутствием даже сопровождавший нас “искусствовед”. Это был смешной, забавный с виду человек, который вмешивался во все: он торчал с нами в бассейне, слонялся с нами по базару и магазинам, во время туров просиживал в пресс-центре, задавая нашим и иностранным тренерам нелепые вопросы по поводу сделанных гроссмейстерами ходов...

К сожалению, турнир Миша не закончил. Он снова оказался заложником дичайших почечных болей и был отправлен в больницу на французскую сторону, где ему предложили задержаться для детального обследования, но он категорически отказался и, как только стало полегче, выписался. Главный врач больницы, милейший человек, отвлекшись от медицинских наставлений, сказал ему перед выпиской: “У вас там так страшно. У вас там арестовывают и отправляют в Сибирь. Оставьте хоть свою жену здесь. Ведь она такая молодая, такая красивая... Она мне очень нравится”. Миша ответил с улыбкой: “Она Вам нравится здесь, а я ее буду любить и в Сибири, если придется...”

Это было незабываемое время! На Кюрасао я познакомилась и подружилась с Роной и Тиграном Петросьянами. Тигран был великолепным человеком. Он очень любил Мишу и всегда завидовал его “богатырскому” здоровью. Помню, работая у Рознера, я была в Москве, и Петросьяны пригласили меня в гости. Я была в восторге от их гостеприимства... Естественно, зашел разговор о Мише, у которого тогда в полном разгаре был роман с Л. И Рона меня спросила: “Салли, скажи честно, ты зла на Мишу? Ты желаешь ему чего-то плохого?” “Боже упаси! — сказала я. — Я желаю ему только самого хорошего!” “Значит, ты его по-прежнему любишь”, —

заключила Рона... Тигран пошел проводить меня до такси. Я посмотрела на него и как-то вдруг предложила: “Знаешь что, давай поцелуемся... Вдруг мы больше никогда не увидимся...” “Увидимся! – сказал Тигран. – Куда мы денемся?”

Больше я его так и не увидела...

Когда-то мой любимый Сало Флор водил меня по московскому шахматному клубу и сказал, указывая на висевшие на стене фотографии чемпионов мира: “Саллинька, посмотри на них. Они все – самые нормальные сумасшедшие люди...” Я благодарю судьбу за то, что моя жизнь проходила среди таких “нормальных сумасшедших”, как Миша, как Тигран, как Бобби, как Толя... (Гарри Кимович – тоже гений, но человек не “сумасшедший”... Это моя точка зрения.)

В такой дреме дорогих для меня воспоминаний пребывала я, когда мы с Герочкой ехали в машине из Италии по направлению к Мюнхену, к совершенно туманному будущему...

Из Мюнхена мы перелетели в Берлин. Пожалуй, из всех лет эмиграции самыми тягостными были годы, проведенные в Берлине. Я заметила одну закономерность. Люди, которые уехали из Союза и более или менее благополучно устроились в новой жизни, охотно и искренне советуют своим друзьям и близким, оставшимся на Родине, сделать то же самое. Да, будет сначала трудно, но потом все уладится. А как же! Иначе и быть не может! Среди эмигрантов бытует такая не очень элегантная поговорка: “Каждый должен съесть свою порцию дерьма”. Поэтому, когда ты приезжаешь и начинаешь это дерьмо кушать, все считают твоё занятие абсолютно рядовым явлением, все тебе сочувствуют, но никто не желает разделить с тобой трапезу. Никому не пожелаю испытать то, что испытала я за те годы. Работы нет, языка не знаешь. Для “взятия” языка нужны деньги. Их нет. Их нет, потому что нет работы. Работы нет, потому что нет знания языка... Мы оказались в заколдованном круге с ощущением полной ненужности и второсортности. Мы сразу почувствовали себя иностранцами в европейском смысле слова. У европейцев нет пиететного отношения к иностранцам, что свойственно

нашим людям. Французы и особенно, по-моему, немцы считают себя людьми первого сорта, а всех остальных, пришедших, — людьми второго сорта. Внешне они этого никак не проявляют, но вы ощущаете такое отношение кожей. И ощущение усиливается при отсутствии денег...

Надежды на то, что Гера продолжит образование в германском институте, развеялись как дым. Гера оказался упрямым молодым человеком и категорически отказался при получении документов писать, что его отец, его бабушка, вся его родня по Мишиной линии — генетические “наследники немецкой культуры”, в связи с чем ему был выдан паспорт иностранца — “ауслендера”. А при невероятном конкурсе в медицинский институт (около 500 на одно место) шансы его равнялись нулю... Нам установили пособие в размере 350 марок, на которые нужно было жить и снимать квартиру... Я не представляю, что бы с нами стало... Но, видимо, моя жизнь была все-таки отмечена везением. Везением на хороших, порядочных и добрых людей...

Нас познакомили с одним русским парнем, который до эмиграции жил в Ленинграде. Звали его Борисом, а фамилию он имел вполне “революционную” — Бухарин. Это был молодой, практичный, родившийся коммерсантом парень. Специалист по иконам. Совершенно очаровательный русский гусар. Деньги зарабатывал большие, но копить их не умел. Тратился на женщин, к которым имел ярко выраженную слабость, просаживал тысячи в казино и ресторанах. Если бы не эти пристрастия, я думаю, он был бы одним из самых богатых людей среди эмигрантов. Он “прилепился” к нам, прежде всего ко мне. Я ему понравилась... Он возил нас с Герой в Италию, одевал, обувал и кормил... Делал подарки, никогда не появлялся без букета цветов.

Когда Гера уехал в Союз, Борис предложил мне даже выйти за него замуж, но я не представляла себе жизни с таким кутилой и гулякой, как Борис. И я отказалась... Постепенно он отдалился от нас, но я бесконечно благодарна ему за поддержку в те тяжелые два года...

Миша приехал в Голландию на турнир и остановился в Амстердаме. Он позвонил, сказал, что ждет нас... Это была наша первая после отъезда встреча. Честно говоря, не предполагала, что в Европе мы станем видеться с ним чаще, чем в последние годы в Союзе...

Той первой встрече предшествовало множество телефонных звонков. Гера очень часто звонил отцу в Союз. Миша не менее часто звонил из Союза нам. Шел 1980 год. До конца “застоя” и начала “перестройки” оставалось четыре года. Отношение к людям, уезжавшим за границу на постоянное место жительства, со стороны властей и общественного мнения было как к предателям Родины. Близкие и дальние родственники эмигрантов обрекали себя на серьезные трудности. Их брали “на карандаш”, они теряли работу... Миша же телефонную связь поддерживал регулярно, понимая, что все его звонки прослушиваются. Когда мы приехали в Амстердам, я сказала Мише: “Ты понимаешь, что у тебя могут быть неприятности?” На что он ответил: “Саська, я поступаю так, как хочу. Побочные варианты буду считать потом”.

Я рассказала Мише все: что живем мы только на социальную помощь, что поступить Гере в институт практически невозможно, что я не работаю, что только начала изучать немецкий язык в Институте Гёте, что окружение в Берлине скверное, что в метро торгуют наркотиками и что в связи со всем этим меня очень беспокоит судьба Геры...

Я понимала, что Гера был достаточно устойчивой натурой. Хорошо отложилось в памяти: когда он поступил в медицинский институт, однажды сказала Иде, что боюсь, как бы медицинское образование не сделало Геру циничным и холодным человеком. Она тогда ответила: “А ты не бойся за Герочку. В нем заложены слишком хорошие гены. Исключено! Не бойся за него, доченька...”

Но я, тем не менее, боялась. Спросила Мишу: “Мишенька, как ты думаешь, может быть, Гусю стоит вернуться, закончить институт в Союзе?..” Помню его мгновенную реакцию: “Да ты с ума сошла!” Потом они отправили меня гу-

лять, сами остались беседовать. Миша сказал Гере, что попробует для начала осуществить “гостевой” вариант, если получится... Он понимал, какое бремя взваливает на себя... Гера вскоре после Мишиного отъезда получил гостевую визу в Советский Союз. Он съездил и вернулся. У него было отличное настроение: “Мама, видимо, я буду возвращаться...” “Каким образом?” — спросила я. “Папа сказал, что все идет”, — ответил Гера...

И “папа сделал”. Можно только догадываться, чего стоило Мише добиться разрешения на возвращение сына... Думаю, только два человека, покинув навсегда Советский Союз, получили возможность возвратиться — Гера Таль и Светлана Аллилуева. Во всяком случае, в то время...

Когда Гера уезжал окончательно, он сказал мне дословно следующее: “Мамуля, я обязательно вернусь. Умоляю тебя, только выдержи...” Тут я не выдержала и разрыдалась. Я говорила сыну, что он больше ко мне не вернется, что я не верю стране, где сегодня вождя кладут в мавзолей, а завтра его оттуда выбрасывают, что я боюсь, как бы его не призвали в Афганистан, что я теряю его на всю жизнь, что никого, кроме него, у меня нет... Но Гера уехал, и мы не виделись после этого шесть лет...

После отъезда Геры я впала в депрессию, усугубленную моей “любимой” мигренью. Даже подумывала, а не закончить ли вообще свое брэнное существование... Вида Вайткуте пыталась вытащить меня из прострации, как могла. Она приглашала меня в гости, знакомила с разными людьми... Это приносило облегчение, но не выздоровление. И вдруг получаю телефонный звонок из Малаги: “Я сказал тебе не все слова...” Миша умоляет приехать к нему на несколько дней в Малагу, где проходит турнир, он говорит, что сделает мне билет, что вся поездка ничего мне не будет стоить, что он страшно хочет меня видеть... Я мгновенно согласилась. Я ни о чем не хотела думать. Я сразу сказала, что приеду. В его голосе были такие теплые, такие родные интонации, что на минуту показалось, будто вернулась на двадцать лет назад...



Подумала: “Какое счастье, что Миша позвонил! Именно сейчас... Как будто чувствовал...”

У меня появилось прямо-таки неодолимое желание скорее увидеть Мишу. Я поняла, что очень скучаю... Через день получила билет, деньги от Миши и приписку, что турнир будет проходить в Коста-дель-Соль... В самолете я познакомилась с очаровательной немецкой парой, которая летела в Малагу на отдых. Они взяли надо мной шефство и правильно сделали, потому что без их помощи вряд ли нашла бы выход из ситуации, в которую попала, выйдя из самолета... Языка не знаю, как добраться до Коста-дель-Соль, не ведаю... Их вилла находилась именно в Коста-дель-Соль, и они приютили меня... Дело в том, что никто в Коста-дель-Соль понятия не имел ни о каком шахматном турнире... Два дня я жила с немцами на их шикарную виллу. Два дня мы бродили по городу, пытаясь выяснить хоть что-нибудь про шахматный турнир. Мы называли фамилии Карпова, Каспарова, Таля – каждый раз абсолютно пустой звук. Наконец немец догадался нарисовать на бумаге шахматные фигуры... И тут официант в одном кафе вдруг оживился: “А-а! Чесс! Чесс!.. Малага! Малага! Нет Коста-дель-Соль! Малага!” Мы поняли, что турнир все-таки проходит в Малаге, и на следующий день добрейшая пара привезла меня в Малагу... Очень скоро мы увидели огромную фигуру шахматного коня и афишу, оповещающую о турнире. Заехали в полицию, узнали, в каком отеле живут гроссмейстеры, и через десять минут были на месте...

Тут меня ждал сюрприз: Таля в гостинице нет. Он в больнице. У него стало плохо с сердцем, и его отправили в Мадрид... Где он конкретно? В какой больнице? Никто толком объяснить не мог, да если бы и объяснили, все равно ничего не оставалось делать, как ждать... Свободных денег у меня не было. Как добраться до Мадрида, не знаю. Где в Мадриде искать Таля?..

Я страшно нервничала и, может быть, поэтому, когда Миша через несколько дней приехал – вдруг, как ни в чем не бывало – из Мадрида, я сделала ему свой “подарок” – у меня

начался очередной приступ мигрени, и когда Миша вошел в номер, испугался:

– Что с тобой, Саська?!

– Мое обычное дело, Мишенька... Что с тобой?

Наш диалог напоминал разговор битого с небитым.

– Я в полном порядке!

– У тебя было плохо с сердцем?

– Моему сердцу было плохо от того, что оно очень скуцало по Саське... Теперь все в порядке! Просто в Ленинграде была задержка рейса. Кроме “гроссов” самолет перевозил в Испанию картины из Эрмитажа. Я просто переутомился... А тебя нужно срочно ставить на ноги!

Он, конечно, храбрился – вид у него был не ахти какой...

– Для начала, – сказал Миша, – я забираю тебя в свой номер.

...Через несколько минут в моем распоряжении была вся гостиничная аптечка, но даже если бы я проглотила все обезболивающие таблетки одним махом, вряд ли бы помогло. Миша как-то, позаимствовав французскую остроту, пошутил по моему поводу: “Саська, лучшее средство против твоей мигрени – это гильотина...” Во второй половине дня все те же добрые немцы отвезли нас в госпиталь. Там никак не могли понять, что со мной. Миша пытался объяснить им по-немецки, по-английски – никакого результата. Врачи и медсестры упорно говорили только по-испански. А я, меж тем, лежала в полубессознательном состоянии и почти не открывала глаз...

Миша, чуть не плача, пытался убедить их сделать мне обезболивающий укол, но до них ничего не доходило. Они тараторили и тараторили на своем испанском, бесконечно жестикулировали, и каждое их слово, каждый жест отдавался в моей голове ударом молота. Наконец со второго этажа позвали какого-то маленького толстого доктора, который стал ощупывать и рассматривать мою голову. Потом он сказал на полурусском, полунемецком языке: “Она надо рентген махен, энцефалограмм махен!” “Ничего ей не надо махен! – закричал Миша. – У нее мигрень! Ей надо укол ма-

хен!” И тут толстенький немец сделал такое заключение, что Миша закусил губу, побледнел и сказал: “Саська! Сейчас я буду их убивать!” Толстенький доктор заявил следующее: “Я думаю, что Вы ударять она бутылка по голова... Это русский диалог...”

С грехом пополам с помощью моих добрых немцев удалось убедить испанцев сделать необходимый укол... Через полчаса мы уехали в гостиницу. В машине Миша сказал: “По сравнению с грузинами испанцы — просто глухонемые... На всякий случай я украл у них шприц и ампулу...” Весь остаток дня он возился со мной, как мог. У него все падало из рук... Миша снова показал себя полным бытовым неумехой. Я напомнила ему случай в Риге, когда заболела тяжелой ангиной с температурой свыше 39 градусов... Иды и Роберта дома не было. А у меня вдруг упала температура, начался сильный озноб. Говорю Мише: “Мишенька! Зажги газ, поставь чайник и сделай мне горячую грелку...” И вдруг он испуганно растерялся: “Саська, я не знаю, как включают газ...”

Тогда, в Малаге, я спросила его: “За то время, что мы с тобой не живем вместе, ты научился зажигать газ?” “Ты будешь смеяться — нет!” — ответил он... Наутро мне стало легче, и мы спустились к завтраку. Миша представил меня как свою “Саську” и перезнакомил со всеми участниками турнира, среди которых было много молодых, не известных мне шахматистов.

Мне грустно вспоминать те дни в Малаге. Мы относились друг к другу так, как в первый период нашей совместной жизни... Я стирала ему в номере одну и ту же “счастливую” рубашку. Он ни в коем случае не хотел надевать другую — “счастливая” рубашка, похоже, действительно приносила ему везение в том турнире. У него было прекрасное настроение. В Малаге Миша занял первое место и вечером после закрытия турнира сказал: “Ты была права. Я был чемпионом мира только с тобой. Ты всегда приносила мне счастье. Видишь, я занял первое место...”

Его слова имели свой подтекст... Когда-то в Риге после какой-то дикой ссоры я сказала ему очень зло: “Ты был чемпионом мира только со мной! Без меня ты им больше никогда не будешь!” Это было жестоко с моей стороны.

Если бы можно было вернуть нашу жизнь назад, ни за что бы такое не повторила...

После Малаги я задала себе один вопрос, спрашиваю себя и сегодня: если бы тогда дала повод, могли бы мы вернуться друг к другу или нет? Все-таки, наверное, нет... Все-таки не представляла я себе реально нашу “реанимацию”. На слишком большую дистанцию мы разошлись... Я упрямо цеплялась за свое свободное одиночество, да и прежние обиды все же не отпускали меня... Повторение истории привело бы к фарсу... Миша, видимо, тоже реально оценивал ситуацию. Может быть, поэтому, когда мы прощались, он ничего не сказал. Лишь грустно, как бы извиняясь, улыбнулся.

Машина времени поманила нас в сладостное прошлое, но тут же холодно и бесстрастно возвратила нас в настоящее, дав еще раз понять, что мы — два очень близких, родных человека, взаимно раненные друг другом. И остается только констатировать этот факт...

Я уже говорила, что в Берлине моя приятельница Вида Вайткуте прилагала много усилий для того, чтобы вытащить меня из моей депрессивной хандры. Она приглашала меня в гости и время от времени знакомила с разного рода “респектабельными” мужчинами. Я прекрасно понимала, с какой целью она это делала, но ко всем этим “кандидатам” относилась с безразличием. Среди них были милые люди, были эдакие деловые откормленные евреи с короткими толстыми пальцами. Они “крутили” какие-то дела, что-то продавали, перепродавали. Называлось все это непривычным для моего слуха словом “бизнес”. Советское воспитание давало о себе знать — слово “бизнес” ассоциируется с чем-то не очень честным, подпольным и грязноватым... Конечно, я была не права — среди них было достаточно порядочных бизнесменов без всякого “душка”. Но тогда они воспринимались

мною все на одно лицо, и у всех — короткие толстые пальцы... Просто какое-то наваждение!

Как-то, немного позже, Вида Вайткуте познакомила меня со своей приятельницей по имени Ева. Ева предложила съездить с ней на неделю посмотреть Бельгию. Нас встретили в Антверпене Евины друзья. Это была семья, владевшая большим ювелирным магазином. В день приезда в доме собрались гости. В Европе любят такие ни к чему не обязывающие вечеринки... Ева, конечно, усадила меня за рояль. Уж не знаю, какое я на всех произвела впечатление, но ко мне буквально прилипла одна дама и весь вечер рассказывала о некоем совершенно замечательном человеке по имени Джо Крамарз, о том, какой он умный и обаятельный, и как было бы хорошо меня с ним познакомить... “Он бизнесмен, и у него толстые и короткие пальцы?” — спросила я. “Что Вы! — поняв иронию, ответила она вполне серьезно. — Он потрясающий человек! В него влюблена вся Бельгия!”

Вот уж вправду не знаешь, где найдешь, где потеряешь... Через три дня меня пригласили в один дом, и там среди гостей оказался Джо Крамарз. Я играла на пианино, пела разные веселые и грустные песенки из моего прошлого репертуара... Джо производил очень достойное впечатление. Говорил редко, но остроумно. Прежде всего поражали его удивительно мудрые, пронизательные и бесконечно добрые глаза. На вид ему было лет 55 (на самом деле, как выяснилось, больше). Пальцы его действительно были длинными, породистыми...

Он мне понравился. Чисто по-человечески. Судя по всему, я ему — тоже. Во всяком случае, когда мы сели за стол, он сказал: “Сажусь с одним условием: после ужина Салли опять сядет за пианино...” Во время ужина друг Джо, который пригласил его на тот вечер, сказал: “Джо, по-моему, ты всю свою жизнь шахматы предпочитаешь бизнесу...” “Да, — сказал Джо, — и не скрываю: если бы можно было жить шахматами, я бы забросил все свои дела”. Его друг продолжил, уже обращаясь ко мне: “Понимаете, Салли, Джо — гроссмейстер по части всякого рода часов, но больше всех часов любит шахматные. Если Вы попадете в Антверпен и спросите у первого

встречного, где можно найти Джо Крамарза, то услышите ответ: “Крамарз сейчас на бирже, играет в шахматы”...” “Мне это знакомо”, — сказала я. “Вы тоже любите шахматы?” — оживился Джо. “Нет, — ответила я, — просто знаю таких сумасшедших”. И тут его друг говорит: “Так вот, Джо, Салли была первой женой Михаила Таля”.

Джо чуть не свалился со стула: “Вы были женой моего кумира, моего Бога?!”... Потом я часто подкалывала Джо. “Джока, — говорила я, — скажи честно, ты женился на мне только потому, что я была женой Таля?” Он всегда отвечал: “Фамилия Таль не имеет никакого значения, если речь идет о тебе... Так же, как и фамилия Ландау...”

Через некоторое время он пригласил меня поехать с ним на юг Франции. В этом приглашении не было никакой “задней” мысли, кроме желания пригласить меня поехать с ним на юг Франции. Вел он себя исключительно корректно, поджентльменски, его внимание было искренним, и никаких “сатисфакций” он не требовал. Мы провели замечательное время. Я узнала, что Джо родился в Бельгии, в Антверпене, но родители его были польскими евреями... Он многое успел рассказать мне о своей жизни, о покойной жене, о двух взрослых сыновьях... Я была менее разговорчивой. Но он не докучал мне бестактными вопросами...

В самолете, когда мы летели обратно, Джо Крамарз предложил мне выйти за него замуж. В этой книге, которая посвящена Мише, я рассказываю о нем не только как о человеке, которого судьба подарила мне во второй половине жизни, но и как о человеке, который очень понравился Мише и который стал для Миши близким другом.

Я продала в Берлине все свои немногочисленные вещички, все, что оставалось, и через месяц (все это время Джо в Бельгии оформлял для меня необходимые документы) прилетела в Антверпен...

В декабре 1981 года я официально стала женой Джо Крамарза и прожила с ним восемь счастливых лет. До самой его смерти.

Миша сказал мне лет через пять после нашей свадьбы с Джо: “Я знаю, почему именно тебе Бог подарил такое сокровище. Это вознаграждение за те мучения, которые доставлял тебе я...” Миша полюбил Джо с момента знакомства. Это было в Мерано во время матча Карпова с Корчным. Именно Джо уговорил меня поехать в Мерано, чтобы познакомиться с Мишей. Долго уговаривать меня не пришлось. И мы поехали в Италию. Это была наша предсвадебная поездка. Конечно, на мое еврейское счастье, я простудилась в поезде, приехала в Мерано уже с высокой температурой и сразу же в отеле слегла. Я сказала, чтобы Джо пошел на матч, разыскал Таля и представился ему как мой будущий муж. Джо так и сделал, и они познакомились. Возвратившись, Джо радостно сообщил, что сбылась его сокровенная мечта – он познакомился с самим Талем!

– Как прореагировал Миша на то, что ты мой будущий муж? – спросила я.

– Сказал, что счастлив, – ответил Джо, – но как-то кисло сказал.

– Он очень ревнивый.

– Ничего удивительного. На его месте я бы тоже был очень ревнивым...

Миша произвел на Джо невероятное впечатление. “Он действительно гений! Настоящий гений!” – повторял Джо.

Через два дня позвонили из Антверпена, сообщили о каких-то трудностях, связанных с магазином Джо, и он тут же улетел в Антверпен, а я осталась болеть в отеле. Миша приходил ко мне каждый день. Вместе со своим другом по фамилии Гершанович. Гершанович был врачом-онкологом. В первый же день они принесли мне лекарство, и Миша делал мне уколы. Он много рассказывал о моих родителях, с которыми поддерживал постоянную связь, о Геле, о Жанночке, о Гере. У Геры, который к тому времени женился на своей Наде, все было хорошо. Миша отдал им свою квартиру на взморье. “Министр” много сделал для того, чтобы Гера смог продолжить обучение в институте. Но в центре Мишиного внимания, естественно, был Джо. Я расписывала Джо в самых

превосходных тонах. И Миша сказал: “Прекрасно, Саська! Ты этого вполне заслуживаешь! Главное, чтобы он оказался не хуже, чем я...” “Главное, чтобы Геля была лучше, чем я...”, — был мой ответ.

Через неделю я выздоровела и улетела в Антверпен, так, к сожалению, ни разу и не побывав на матче. Я оставила Мише координаты Джо. “Буду вас бомбить”, — пообещал Миша. В Антверпен он звонил часто и отовсюду и, поговорив со мной, всегда требовал к телефону Джо. И если я говорила, что прекрасно себя чувствую, Миша непременно перепроверял у Джо, действительно ли я себя хорошо чувствую...

Джо был человеком необычайной доброты, и вообще с Мишей у них оказалось немало сходства. Например, его так же, как и Мишу, не интересовало, во что одеваться, чем питаться, какая в квартире мебель... Он наслаждался каждой секундой прожитой жизни, словно предчувствуя, что в недалеком времени все для него кончится... Если с утра было солнце, он будил меня и говорил: “Саллинька! Как ты можешь спать, когда за окном такое замечательное солнце!” Если шел дождь, он радовался дождю, говоря: “Саллинька! Посмотри, какой роскошный дождь!” Так же, как и Миша, не понимал, почему вдруг, ни с того ни с сего, я валилась как подкошенная со своими “мигреньями”. Так же, как и Миша, метался из угла в угол, пытаясь облегчить мои страдания, но не знал, как это сделать...

Словом, жизнь моя сложилась прекрасно во всем объеме этого слова, и мне было лишь жаль, что нет со мной сына. И еще очень хотелось, чтобы Миша, именно Миша, понял, что мне действительно хорошо...

Но в жизни, увы, как и в шахматах, сколько белых полей, столько и черных... Еще из Мерано позвонил Миша и сообщил о смерти Роберта. О смерти Яши я узнала, будучи в Берлине. “Саська, — сказал Миша, — я растерял практически весь комплект моих самых дорогих фигур”. Эти утраты сблизили его с Герой. Они стали не просто отцом и сыном — они стали друзьями. Эти утраты, думаю, пробудили в



нем безумную любовь к Жанночке. Видимо, они же заставляли его немыслимое количество раз звонить мне... Иногда ему даже нечего было сказать. “Мишенька, — спрашивала я, — ты вчера звонил. Что-нибудь случилось?” “Ничего, — часто отвечал он, — все, что должно было случиться, уже давно случилось. Звоню, чтобы помолчать и послушать тебя”.

Первое “большое знакомство” Миши и Джо произошло в Вейк-ан-Зее, в Голландии. Там проходил турнир, и Миша нас пригласил.

Мы остановились в том же отеле, где жили шахматисты. Миша зарезервировал для нас номер. И вот рано утром мы приходим с Джо в Мишин номер. Накурено, пепельница завалена окурками, повсюду разбросана шахматная литература. Миша с вечной сигаретой в зубах разбирает партию. Увидев нас, он вскочил, “задергался”, стал извиняться... И Джо сказал: “Миша! Перестаньте себя убивать! Погода великолепная! Пойдемте погуляем и позавтракаем в каком-нибудь симпатичном местечке!” Миша посмотрел на него отрешенно и предложил: “Джо! У меня есть другой вариант: вы идете гулять, а мы здесь с Саськой поболтаем”.

Джо был очень тактичным человеком. Он сказал, что в восторге от Мишиного варианта, и пошел гулять... А Миша устроил мне “допрос с пристрастием”: как я живу? хорошо ли мне? счастлива ли я? как ко мне относится Джо?.. Потом мы заговорили о Гере, о моих родителях, и я осторожно спросила, не может ли он помочь мне с приездом в СССР, чтобы я могла повидать сына и своих родителей. Миша сказал, что времена тяжелые, ситуация скверная и вряд ли это удастся. Тогда я спросила, нельзя ли сделать так, чтобы Гера приехал ко мне в гости в Антверпен — высылала ему бесконечные приглашения, но безрезультатно. Миша немного задумался и ответил, что постарается, но не уверен, что получится. Потом улыбнулся и сказал: “Лучше расскажи о себе”. “Я уже все тебе рассказала!” — ответила я. “Мне мало, в крайнем случае повтори еще раз...”

В Голландии Миша и Джо быстро подружились и перешли на “ты”. Когда Миша был свободен, Джо не отходил от него. Он напоминал счастливого ребенка, которого великодушно взял на прогулку знаменитый папа, хотя Джо был много старше Миши. Его лицо светилось счастьем и гордостью, когда Мишу обступали поклонники, высказывали ему свое восхищение и просили автограф. Джо проникался чувством сопричастности и Мишину славу воспринимал, как свою... После Голландии наши встречи стали, можно сказать, традиционными. Перед любым турниром, который проходил в Европе с участием Миши, он звонил и приглашал нас приехать. Не каждый раз удавалось, но мы приезжали к нему и в Голландию, и во Францию, и в Испанию...

В один из последних дней нашего пребывания в Вейк-ан-Зее мы поужинали в ресторане отеля и, помню, уже решили расходиться, так как было довольно поздно. И вдруг в холле Миша подбежал к роялю, открыл крышку, подошел ко мне и галантнейшим образом подвел к роялю. “Сыграй что-нибудь, — попросил он. — Ты так давно для меня не играла...” Я исполнила свой любимый романс “Целует осень на прощание рябину в алые уста...”

Целует осень на прощание  
Рябину в алые уста.  
Зачем давал мне обещания,  
Когда любовь уже мертва...

Закончив, закрыла крышку и сказала: “В Риге я пела и играла лучше”. Не могу передать словами выражение его лица... Миша обнял меня и очень тихо произнес: “Какое счастье, что у меня была, есть и будет Саська...” И он ушел в свой номер. Разумеется, Джо, не зная русского языка, ничего не понял и спросил меня: “Что он сказал?” “Ничего особенного, — ответила я. — Просто вспомнил пустячную мелочь из нашей жизни...”

Повторяю, Миша очень хорошо относился к Джо, относился так, как относится брат к мужу своей любимой сестры.

Но при этом приоритет касательно наших с ним взаимоотношений всегда оставлял за собой. Когда мы приезжали, Миша неуловимо, незаметно “оттирал” Джо, брал меня за руку, гладил, целовал, говорил, как он меня любит, словно не было рядом никакого Джо. Джо, конечно, переживал, хотя старался не подавать виду. И однажды он сказал мне по-немецки: “Миша, наверное, забыл, что теперь не он твой муж, а я...” Но Миша делал это осознанно, он не хотел обижать Джо: просто это был Миша — он искренне считал, что “первее” него во взаимоотношениях с “его Саськой” нет никого в мире...

Помню, мы приехали на шахматную олимпиаду в Люцерн, и Джо восхищенно сказал мне: “Смотри, сколько великих гроссмейстеров приехало в Люцерн! Я уж не говорю о Карпове, о Каспарове... А народ бегаёт за Талем!” И это было абсолютной правдой...

Как-то мы договорились с Мишей, что после партии все вместе пойдем поужинать в ресторан. Но партия продолжалась полное время, была отложена, и Миша засел в пресс-бюро за анализ. В начале двенадцатого я сказала Джо, что уже поздно, что ужин с Мишей мы перенесем на завтра. И легли спать. В первом часу ночи раздался стук в дверь. Я открыла. Вошел Миша. “Мы же договорились ужинать! — сказал он. — Одевайтесь! Я жду вас с Джо в ресторане!” “Мишенька! — говорю я. — Уже первый час ночи! Какой ужин?” “Тогда буди Джо — устроим семейные посиделки в номере!”...

Часа в три ночи Джо сказал: “Миша! У меня в жизни были две главные мечты. Первая сбылась — благодаря Салли я познакомился с тобой. Но есть еще вторая мечта — сыграть партию с самым великим шахматистом двадцатого века...” Миша: “Мы рождены, чтоб вашу сказку сделать нашей былью!” Джо мгновенно достал шахматы, и они сели играть. Джо был возбужден. Щеки горели. Он склонился над шахматной доской, долго думал и после каждого сделанного хода переводил дух. А Миша отвернулся от доски и делал ходы, почти не глядя, напевая все время арии из опер, и время от

времени “подкалывал” Джо. Они сыграли пять или шесть партий с вполне ожидаемым результатом... Перед уходом Миша шепнул мне в великодушном тоне: “Он играет в шахматы не так плохо, как хотелось бы... Но чемпионом мира ему не быть... Впрочем, как и мне...”

В Париже Миша давал сеанс одновременной игры на 33 досках, и Джо попросился сесть “тридцать четвертым”. Миша, конечно, не возражал. Он выиграл 30 партий, сделал три ничьих и одну проиграл. Джо оказался среди тридцати поверженных и был очень расстроен. “Не пойму, каким образом я проиграл Мише? — спрашивал он. — Ведь я имел совершенно ничейную позицию... Что ему, трудно было предложить мне ничью?” Я — Мише:

— Тебе жалко было сделать с Джо ничью? Ты не мог доставить радость такому золотому человеку?

— Именно у него я хотел выиграть, — засмеялся Миша. — Я просто отреванишировался за свое поражение. Ведь он выиграл у меня тебя... Теперь, как победитель, я отправлю Джо спать, а ты будешь сидеть в моем номере до того момента, пока я не поеду в аэропорт...

Но Миша не только “подкалывал” Джо. Иногда он брал его и под защиту...

В Брюсселе Миша пригласил нас пообедать. Мы нашли маленький симпатичный ресторанчик, из тех, где не обязательно сдавать верхнюю одежду в гардероб. Мое пальто висело на спинке стула. Когда мы собрались уходить, я поднялась, Миша вскочил и подал мне пальто. Джо этот момент “прозевал”, и я сказала: “Джо, в твои годы пора бы научиться подавать даме пальто”. “А в твои годы, — мгновенно отреагировал Миша, — пора бы уже об этом и забыть”.

Чем больше я жила в эмиграции, тем больше мне хотелось приехать в Союз. Меня не мучила ностальгия в расхожем смысле этого слова. Мне не снились вильнюсские и рижские улочки, я не жалела о случившемся. Но в Союзе продолжали жить мои родители, мой сын, наконец, Миша...

Судьба этих людей меня очень беспокоила. Я боялась, что из-за меня у них могут возникнуть неприятности... Может быть, я, чисто по-женски, сгущала краски... Может быть... Но ведь была и очевидная реальность: КГБ и средства массовой информации культивировали в советских людях весьма определенное отношение к “уехавшим”. И мне было очень трудно осознавать, что я, вполне вероятно, больше никогда не увижу ни Геру, ни маму с папой. Это страшно: знать, что они живут от тебя на расстоянии двухчасового перелета, и не иметь возможности даже мимолетного контакта... Да, в то время люди разбегались и считали, что разбегаются НАВСЕГДА! Как будто уходили на тот свет... Но пока человек жив, он надеется.

Продолжала надеяться и я, посылая в Союз приглашения сыну и родителям. Более того, Джо, видя мои переживания, настоял, чтобы я обратилась в Советское консульство в Антверпене с просьбой разрешить мне гостевую поездку в СССР. И вот я набралась смелости и явилась в консульство. Наверное, никогда не чувствовала себя более униженной, чем в тот день. К начальству меня не подпустили. Разговаривал со мной какой-то мелкий чиновник. Пешка... Оголтелый антисемит. Итог: “Ни Советского Союза, ни своих родителей Вы больше не увидите. Это я Вам обещаю. Вы знали, на что шли”. Я вернулась домой совершенно разбитая и обо всем рассказала Джо. Он был взбешен, бросился к телефону и стал звонить в Министерство иностранных дел Бельгии. Еле отговорила его...

Поехать на Родину я смогла только в 1984 году после прихода к власти Михаила Горбачева. Мы с Джо получили разрешение и, как понимаю, не без помощи Миши... Но, видимо, на роду у меня написано не иметь в жизни полного счастья — к тому времени у Джо был обнаружен, выражаясь неврачебным языком, рак лимфатических желез... Мне сказали, что даже самое эффективное лечение может лишь продлить его жизнь. Не больше... Почти одновременно ему поставили еще один диагноз — рак прямой кишки и срочно прооперировали. Потом химиотерапия, облучение, беско-

нечные анализы... На протяжении четырех лет... Он держался мужественно и необычайно достойно. После первого сеанса химиотерапии Джо почувствовал себя лучше и настоял, чтобы мы поехали в Люцерн на шахматную олимпиаду. “Я очень соскучился по Мише”, – сказал он. И мы поехали.

В Люцерне Миша познакомил Джо с Толей Карповым, с Аликом Рошалем, с Геной Сосонко, с Юрой Авербахом, с Василием Васильевичем Смысловым... Мы часто гуляли все вместе, и однажды Василий Васильевич сказал ему: “Джо, Вам очень повезло – Ваша жена очаровательное создание... Я считаю, что, потеряв Салли, Миша потерял и самого себя”. Я попыталась не согласиться, но Василий Васильевич сказал: “Милая Салли, когда говорят мужчины, женщины могут тихо прогуливаться в отдалении”.

Так вот, в 1984 году мы получили разрешение на поездку в Советский Союз. Миша, который для этого много сделал, настоял, чтобы мы приехали в Ленинград, поскольку он там играл в турнире. Мы купили массу подарков для всех и прибыли в Ленинград. Я буквально летала на крыльях от радости, что могу видеть Геру, его жену, моих потрясающих внучек, Гелю, Жанночку, маму, папу...

Миша брал с собой Джо на каждую партию. Джо было очень тяжело, но об этом знал только он один. Он даже сказал Мише: “Я профан в медицине, и этим пользуются врачи, заставляя покупать дорогие лекарства и делать сложные исследования. Они просто выкачивают из меня мой капитал”. Реплика Миши: “Со мной та же история”.

Джо был в ужасе от того, сколько Миша курит, да еще “балуется со стаканчиком”. “Он убивает себя! – сокрушался Джо. – Он не имеет права думать только о себе! Он осиротит человечество!” Миша уже тогда, в Ленинграде, выглядел не лучшим образом. Но если раньше, на фоне шумных успехов, его внешность казалась эпатажирующей пикантностью гения, то теперь, когда фанфары отгремели, когда он устал от болезни и постарел, когда появились новые, молодые, модно одетые шахматисты, внешний вид Таля представлял собой

печальное зрелище... Понимал это Миша или нет? Думаю, что понимал... Однажды, когда я просто накричала на него за его безобразное отношение к своему здоровью, к своему внешнему виду, он сказал с грустью: “Саська... Мне абсолютно все известно... Впереди нет никаких приятных неожиданностей... Я доигрываю безнадежный эндшпиль... Но у меня есть надежда еще немного похулиганить... На реванш уже нет времени. Буду “возить” до мата”.

Миша, как уже упоминалось, очень дружил с доктором-онкологом Гершановичем, и в Ленинграде он попросил его посмотреть Джо. Гершанович проконсультировал Джо и, оставшись со мной с глазу на глаз, спросил: “Салли, я должен сказать тебе правду?” “Только правду!” – ответила я. “У Джо очень здоровое сердце, и он очень крепкий, очень выносливый... Поэтому даю ему еще лет пять...” Но всю правду он сказал Мише: Джо не протянет и года...

Я, конечно, отдавала себе отчет, что Джо смертельно болен, но поверить в это не могла. Так уж устроен человек – безосновательно, без всякой логики он продолжает надеяться... На какие-то скрытые резервы организма, на живительную силу новых лекарственных препаратов, на молитву... А скорее всего, в безнадежных ситуациях он надеется на чудо. Я не представляла, что наступит день, когда Джо не будет. Я упорно не верила, что судьба, подарившая мне во второй половине жизни такое спокойствие и радость, у меня все вдруг отнимет. Когда Джо становилось хуже, я старалась, чтобы ни одной минуты он не оставался один, и ждала и ждала, когда наступит улучшение. Наступала ремиссия, он вставал с больничной койки, и мы укатывали с ним то к морю, то к Мише на очередной турнир – я успокаивалась... И постепенно убеждала себя в том, что вот и наступило выздоровление, вот меня Бог и услышал. И уже рисовала радужные планы на будущее, загадывая на пять, на десять лет вперед...

Но в тот же момент изнутри начинала долбить холодная безжалостная мысль: какие пять лет? какие десять лет? скоро, совсем скоро его НЕ БУДЕТ. НЕ БУДЕТ. НЕ БУДЕТ...

Потом снова в мозгу поселялось оптимистичное, успокаивающее: чепуха! все будет хорошо! есть высшая справедливость!..

Мы с Мишей имели большой разговор о Джо, обо мне, он просил меня серьезно отнестись к существующей ситуации. “Саська, — говорил он, — Джо безнадежен. Он умрет, как ни печально. Начиная привыкать к тому, что ты его потеряешь. Подумай о себе, о своем здоровье. Подумай о будущем”. Я не помню, чтобы Миша когда-нибудь говорил так серьезно. Теперь мне кажется, что говоря тогда о Джо, он имел в виду и себя самого...

Давая срок в один год, Гершанович не ошибся. Последние месяцы Джо лежал дома. Он не хотел оставаться в больнице... Морфий уже не снимал жутких болей, а лишь глушил сознание...

Незадолго до смерти я вошла в его комнату. Он вдруг открыл глаза и сказал: “Ты всегда любила ездить на Новый год в Италию, в Испанию... На Пасху — в Израиль... А вместо того тратишь все свои силы, чтобы еще лишний день удержать меня на этом свете... Не мучайся... Отпусти меня... Ты молодая, красивая... Ты еще найдешь хорошего человека... А я о тебе позаботился... И еще я знаю, что на мою могилу будешь приезжать только ты...”

Джо умер в хороший солнечный день... Уже вечером позвонил из Союза Миша. Его звонок очень поддержал меня. Он утешал, как мог, и в конце разговора сказал: “Бедная моя, я знаю, как тебе тяжело, но и ты знай: твой Миська — всегда с тобой, и он полон сил и здоровья...”

Гера в те дни впервые гостил у меня в Бельгии. С большим трудом ему удалось продлить срок пребывания еще на несколько дней, чтобы помочь мне похоронить Джо. Потом была шива (еврейский вариант поминок). Собралось несметное количество людей. Гера ухаживал за мной, обслуживал и обносил собравшихся, а я сидела оглушенная уколами. Когда мы остались с Герой вдвоем, я сказала: “Все, сыночек, жизнь закончилась. Мне уже сорок девять лет. Второго Джо не будет, а все остальные слетятся на мои деньги, как мотыльки на ого-



нек...” Гера вскочил, забегал по комнате, чем очень напомнил Мишу, и почти закричал: “Как тебе не стыдно так говорить! Бог наградил тебя способностью любить и быть любимой! И он не оставит тебя! А кроме Бога отнять твое никто не может! Есть ты, а значит, есть я и есть папа!”

После смерти Джо я не могла найти себе места. Антверпен казался мне вымершим и опустевшим. В доме я не могла находиться долго. Я страдала бессонницей, а в коротких промежутках забытья во сне ко мне приходил Джо и умолял поехать с ним в Италию... Сон так явствен, что я просыпалась, и первым моим желанием было желание собрать чемодан с вещами для предстоящей поездки... Это было мучительно. Мне казалось, что я схожу с ума.

Джо, конечно же, обеспечил меня. Я стала владелицей кое-какой недвижимости. Но из меня бизнесмен, как из зайца волк. Едва я попыталась проявить деловую активность, как меня очень прилично “кинул” один ловкий греческий авантюрист... В суде мне сказали, что, даже если его отловят и я выиграю дело, денег мне не видать, как своих ушей, так как взять с него будет нечего — он все переписал на подставных лиц, и единственным утешением для меня может послужить только его тюремное заключение... С того момента стараюсь не влезать ни в какие дела...

Не знаю, как бы я перенесла свалившуюся на меня лавину трудностей, если бы не Миша...

В один из дней он сообщил мне по телефону, что летит на турнир в Испанию и пару дней проведет в Париже. Он сказал, чтобы я ни о чем не думала, плюнула на все неприятности и махнула в Париж.

“Во-первых, я хочу тебя видеть, — сказал он, — а во-вторых, Париж — город, в котором теряют все плохое и обретают хорошее, включая меня”.

Миша, как всегда, “возник” в нужный момент. У меня уже был готов пакет документов для Геры в связи с его выездом из СССР. Более надежную оказию, чтобы пакет по-

пал по назначению, через Мишу, трудно было себе представить... Я встретила его в аэропорту “Шарль де Голль”. Стали выходить пассажиры, и среди них я увидела пожилого человека с болезненным лицом. На нем было старомодное пальтишко и огромная, не по размеру, “совковая” пыжиковая шапка. Трудно было узнать в этом человеке блистательного любимца публики, знаменитого Михаила Таля. Но это был он... Выглядел Миша столь ужасно, что мне стало страшно. Он был совершенно трезв, но запах его любимого “мартеля” я уловила... Он сразу среагировал на мой испуганный взгляд и засмеялся: “Не бойся, рыжик! Это я репетирую роль чучела Михаила Таля в новой кинокомедии”. “Миша, — сказала я. — Это — не кинокомедия. Это — фильм ужасов!” А он обнял меня и сказал: “Ужас был бы, если бы ты не приехала”.

Миша рассказывал о Гере, интересовался моими делами и совершенно расцветал, когда разговор заходил о Жанночке. Через два дня я провожала его в Испанию. Он был весел и говорил, что давно не чувствовал себя так хорошо, как в эти два дня. А я думала только об одном: каким образом можно играть в шахматы, находясь в таком чудовищном состоянии?

Прошла неделя, и он позвонил из Испании. “Саська! — закричал он радостно. — Кажется, я начинаю неплохо играть в шахматы!”

«... Над молодым чемпионом светило яркое солнце славы, будущее виделось радостным и безоблачным... Но Бог рассудил иначе, и на долю Таля выпало немало тяжелых испытаний. Дальнейший его творческий и спортивный путь был омрачен тяжелой болезнью почек, сопровождавшейся острыми, труднопереносимыми болями. Приступы болезни наступали неожиданно, часто во время соревнований. Приходится лишь удивляться, что после стольких операций, проведенных под общим наркозом, Миша еще сохранял удивительную ясность и быстроту мышления.

Болезнь оказалась неизлечимой. Врачам уже давно было очевидно, что жить Талю осталось недолго. Но случилось чудо: Таль еще многие годы мужественно противостоял смертельному недугу. Его спасительным лекарством были шахматы! Когда болезнь на шаг отступала, Миша сразу же бросался в горнило шахматной борьбы...»

*Виктор МАЛКИН,  
доктор медицины  
("Шахматный вестник", 1992 г.)*

Потом мы встретились с Мишей в Брюсселе, куда он приехал с Гелей. Это было после двух полостных операций в Риге, когда у него было желудочное кровотечение, причину которого так и не установили даже во время операции. Миша был очень слаб, еле передвигал ноги... Понятно, что Геля не могла отпустить его на турнир одного. По просьбе Гели мой знакомый антверпенский врач осмотрел Мишу в гостинице и обнаружил абсцесс в области шва. Он высказал предположение, что абсцесс — результат отторжения шовных ниток, которые “забыли” вовремя удалить. Он сказал, что, скорее всего, абсцесс придется вскрывать... Позднее так оно и произошло...

Больше всего меня изумило то, что после осмотра, находясь в ужасном состоянии, Миша настоял, чтобы мы все пошли в ресторан (!), и в ресторане заказал себе каких-то моллюсков, морских червей — все очень острое, выпил несколько рюмок спиртного и в течение всего ужина шутил по поводу изощренности человечества, догадавшегося, что все эти неэстетичные с виду морские твари на самом деле являются изысканнейшими деликатесами... Наш знакомый антверпенский доктор хватался за голову и не сомневался, что придется вызывать скорую помощь... Но Мишин организм был непостижим! Правда, тогда сыграл он, по-моему, две партии и выбыл из турнира...

В июле 1990 года Гера с семьей прилетел в Израиль. Конечно, я тут же сделала то же самое. Вскоре прилетел Миша

с Гелей и Жанночкой. У всех у нас было прелестное и беззаботное настроение — мы впервые за много лет собрались своей большой семьей за одним столом.

Миша был “в тонусе”, без конца острил, с аппетитом ел, выпивал и поминутно выбегал из комнаты покурить. У всех сложилось ощущение, что он начинает избавляться от своих хвороб...

Гера сделал в те дни много фотографий, которые мы проявили уже после того, как Миша уехал. Как-то однажды мы сидели с Герой на диване и рассматривали фото. И вдруг Гера с тревогой в голосе сказал: “Мама! Посмотри! Это — не наш папа! Это — старый мертвый человек!” Мне стало не по себе от его слов, но то была правда...

Пока Миша был рядом, от него исходило какое-то магическое свечение, которое делало его в глазах окружающих молодым и здоровым. С фотографий же смотрела выцветшая тень человека, который когда-то был Мишей Талем, — без радости, без малейшего блеска во взгляде. Как царственная новогодняя елка после того, как вдруг взяли и выключили сверкавшие на ней разноцветные гирлянды лампочек...

Находясь в течение жизни рядом с Мишей, я часто наблюдала в нем сходные эффекты внезапного “выключения”, но не такие и другого происхождения. “Выключался” он обычно в те моменты, когда разговор переставал быть для него интересным. Собеседник всегда улавливал этот момент, и дальнейшее зависело от его такта. “Выключение” означало одно: “Разговор окончен. Извините — у меня больше нет времени”. Тактичный человек сам в такой момент прерывал беседу и замолкал. Или уходил. Бестактному приходилось объяснять. Могла я объяснить, мог — Кобленц... Объясняла Геля...

Но Миша мог и “включаться” — как правило, тогда, когда разговор переходил на шахматную тему. Однако при условии, что собеседник — человек, постигший шахматы. Специалисты могут часами беседовать друг с другом, пересыпая

диалог невероятным количеством своих и чужих цитат. Шахматисты общаются на языке шахматной нотации. Эта способность всегда вызывала у меня изумление. Я ничего не могла понять, но слушала моих “инопланетян”, наблюдая за их эмоциями. Если собирались, например, вместе Таль, Штейн и Гуфельд, то их общение выглядело примерно так:

Гуфельд: А что вы скажете на: коньчетыреэфшестьслонбжедва?

Штейн: Слонжесемьэфжеэфконьдэпятьшах!

Таль: А не хотите ли: наконьэфшестьвпромежуткеферзьашвосемь?

Гуфельд: Наферзьашвосемьладьяжевосемьшахомашемьладьябьеташвосемь и – без мамочки!

Таль: А после слонеодин – без папочки...

Штейн: Слонеодин не проходит из-за очевидного: коньбьетеодинцэчетыредэцэкорольжесемьладьяасемьшах!

... И эта милая “болтовня” длилась бесконечно, и у постороннего возникало полное ощущение сумасшедшего дома.

«... Все молодые, охотно уважая и Геллера, и Полугаевского, и Таля, за доской готовы опровергать и того, и другого, и третьего. И это прекрасно. Мы ведь так же относились к Ботвиннику, или к Бронштейну, или к Кересу...

... Обратная сторона проблемы выдвинута не самими молодыми, а скорее – их горе-болельщиками. При этом опять же надо учитывать, что бывают разные поклонники. В 1960 году в зале Московского театра имени Пушкина, а позже, в 1961 году, в Театре эстрады большинство присутствовавших болело за меня, а не за Ботвинника. Что-то новое, что-то свежее! Уверен, что если бы мне пришлось сейчас играть матч с Анатолием Карповым, ему симпатизировало бы то же самое большинство. Закон природы, и с этим ничего не поделаешь. Неприятно лишь, когда под это подводится откровенная “база”: эти, мол, старые (читай: бесперспективные, читай: неподходящие...). Но ведь, как говорится, Бог подаст, а мы нет, мы подавать не собираемся. Мы уступим, но только за доской. Я не собираюсь, как иные,

портить отношения с тем, кто меня обыграет. Но пусть сначала обыграет, не дожидаясь глашатаев и ходоков за себя»

М. ТАЛЬ  
(“64”, 1979 г.)

“Включался” Миша и тогда, когда разговор заходил о футболе. Он был фанатичным болельщиком и часто в поездках таскал меня на любые матчи. Мне эта истерия всегда была непонятна: как не смог меня Миша научить играть в шахматы, так не смог он меня пристрастить и к футболу. Потом он уже не звал меня на футбол, а друзьям говорил: “Саська смотрит на игру, как баран на футбольные ворота!”

Иногда Мишины “включения” касались карт. Любил и с особым азартом играл в белот, которому его научил еще Роберт, и бридж. Как-то я сказала, что антверпенские дамы хотят научить меня бриджу. Миша сказал: “Саська! Это еще сложнее, чем шахматы. Тебе проще изучить японский язык”.

Эти фрагменты своих воспоминаний я привела еще и для того, чтобы сказать, что Миша был увлекающимся человеком во всем.

... В тот день, когда мы рассматривали Мишины фотографии, Гера сказал: “Не могу уговорить папу приехать в Израиль... если не насовсем, то хотя бы — полечиться...” “Сынок, — сказала я, — это бесполезно. Его звали и в Швейцарию, и в Канаду, и во Францию... Куда его только не звали! Твоему папе нравится только в одной стране — в Советском Союзе!..”

И в этом плане Миша был удивительным человеком. Я знаю, что в разных странах ему делали прямые и не прямые предложения остаться. Этот вопрос им вовсе не рассматривался. Как-то он сказал мне: “Даже если бы я обиделся на весь Советский Союз в десять раз больше, чем Корчной, я все равно бы никуда не уехал”. Но и никого из тех, кто уехал

или остался, он никогда не осуждал. Он прекрасно понимал денежные и политические мотивы эмигрантов.

Миша все сделал для того, чтобы Геля и Жанночка большую часть времени при его жизни проводили в Германии в доме его поклонника и друга – старого немецкого профессора, где Жанночка, будучи от рождения очень здоровой, могла бы нормально питаться, лечиться и заниматься музыкой... Незадолго до смерти Миши Алик Бах сказал ему: “Ты себя не жалеешь. Подумай, что будет с Гелей и Жанночкой, если что-то вдруг случится”. На что Миша ему ответил: “Не волнуйся. Они будут обеспечены”.

... Геля и Жанночка сейчас живут в Германии. Мы часто перезваниваемся. Что касается Геры, то для них он – дорогой гость...

Миша прекрасно понимал, что почем, но сам был человеком вне денег и вне политики. Он везде оставался бы самим собой, не от мира сего человеком... Однажды, еще в Риге, он сказал мне: “Саська, у меня с утра весь день болят ноги, и я не пойму, в чем дело”. Я взглянула на его ноги и расхохоталась. Он был обут в два разных ботинка. Оба – с правой ноги... Я думаю, что и в Монте-Карло он ходил бы в стоптанных туфлях.

Есть люди, которые специально создают себе образ “гениального” человека, и главным признаком гениальности они почему-то считают некую чудаковатость и непременно рассеянность. Я знаю таких людей. Но к Мише это не относилось. Он действительно был гениальным и действительно был рассеянным... У некоторых гениев отсутствует честолюбие. Мише честолюбие было присуще. Он очень любил проявление к себе повышенного интереса и всегда старался быть в центре внимания. Его это возбуждало, стимулировало. Так бывает в театре: актер лучше играет при переполненном зрительном зале. В то же время Миша никогда не старался привлечь к себе внимание искусственным путем. Он не “играл”, ничего не делал специально, не наводил лоск перед зеркалом.

## ИЗ БЕСЕДЫ М. ТАЛЯ С МАСТЕРОМ ЕВГ. БЕБЧУКОМ

Е.Б.: Михаил Нехемьевич, Вам – пятьдесят! В это почти нельзя поверить...

ТАЛЬ: Я и сам не очень верю, когда не смотрюсь в зеркало! В двадцать лет кажется, что так все всегда и будет, а вот прошло еще тридцать...

Е.Б.: И все же Таль остается Талем! Вы и в когорте сильнейших в мире. И популярность Ваша возросла, Вас везде и все узнают.

ТАЛЬ: Да вот и недавно так было. Приехал в Липецк, пошел в буфет поужинать и слышу, как за соседним столиком один товарищ говорит другому: "Посмотри, ну вылитый Таль!" А тот отвечает: "Удивительное сходство, только этот явно глупее и старее". А если серьезно, мне нравится быть среди людей, я много времени трачу на гастроли с лекциями и сеансами. И думаю, тысячи любителей это знают. Так что наша любовь взаимна...

.....  
Е.Б.: А как Вы относитесь к тому, что борьба за "шахматную корону" превратилась из индивидуальной в сражение целых команд, выступающих на той или иной стороне...

ТАЛЬ: Сожалею об этом. В свое время, по свидетельству Флора, Алехин упрекнул его за активную помощь Эйве в матче 1935 года. Тогда Флор сказал себе: "Играющий гроссмейстер не должен вмешиваться в единоборство других". И через два года отказал Эйве в помощи.

Мне кажется, рядом с борющимся за мировое первенство должен быть человек, действительно многие годы оказывающий помощь своему гроссмейстеру. Таким было содружество Ботвинника с Рагозиным, а позже – с Гольдбергом, у меня – с Кобленцем, у Петросяна – с Болеславским. Сейчас такое многолетнее содружество у Карпова – с Зайцевым, у Каспарова – с Никитиным... И, наверное, не стоит создавать многочисленные "команды"...

Е.Б.: Вернемся к тому, что шахматы изменились... Помните, несколько лет назад Вы сказали, что "сегодня бы я "раскатал" того Талья"! Имелся в виду Таль – чемпион мира. Стало быть, сегодня играют в шахматы сильнее?



ТАЛЬ: Общий уровень мастеров и гроссмейстеров очень вырос. А мое заявление и тогда, и подтверждение его сейчас основано на том, что я за эти годы (конечно, как и другие) получил такой опыт, что кое-что из сделанного мною в 1959–1960 годах кажется мне сейчас смешным.

Е.Б.: О чем Вы мечтаете, как человек, беспредельно преданный шахматам?

ТАЛЬ: Хотя бы о том, что как-нибудь можно будет приехать в Москву, появиться в ЦШК... Там будут царить шахматы, и мы до хрипоты будем спорить по чисто шахматным проблемам. Нас сегодня призывают к откровенности – вот я и говорю откровенно. И не станет никаких группировок, и исчезнут мелкие (простите, порой и глупые) обиды друг на друга. А в вестибюле было бы, например, такое объявление: “Сегодня гроссмейстер Таль прочтет лекцию “Что я сделал для шахмат?” И ребята, пришедшие в клуб, будут видеть в каждом мастере и гроссмейстере учителя, человека, с которого нельзя не взять пример.

*(“Шахматный вестник”, 1986 г.)*

Помню, во время матча с Ботвинником мы решили пообедать в ресторане “Арагви”. Перед входом была приличная очередь – человек пятьдесят-шестьдесят. Мы встали в самый конец. Из ресторана доносились вкусные запахи, и Миша сказал: “Саська! Следующую партию с Михаилом Моисеевичем будешь играть ты. По доверенности. Потому что я умру с голоду”. “Миша! – предложила я. – Давай подойдем ко входу и скажем, что ты Михаил Таль. Нас пропустят без очереди”. “Мне неудобно”, – сказал он. “Неудобно – умирай с голоду”, – ответила я... И вдруг стоявший перед нами мужчина оглянулся на нас и закричал с грузинским акцентом: “Посмотрите! Это же наш Михо! Михо Таль!” Мгновенно очередь расступилась, и нас буквально внесли в ресторан. Миша явно смутился, покраснел, но я видела, что ему приятно.

С другой стороны, он иногда был способен на экстравагантные поступки – с учетом того, что эти поступки совер-

шает именно Михаил Таль. Во время второго матча с Ботвинником Мишу и меня пригласили на цирковое представление с участием Олега Попова. Администратор нас торжественно встретил, а дрессировщик моржей сказал, что во втором отделении он пригласит Михаила Талья на манеж, чтобы он проделал с моржами несложный трюк. Миша обрадовался, как ребенок...

Но в конце первого отделения у него начался дичайший приступ болей. В антракте нас проводили за кулисы и вызвали "скорую". Мише сделали укол, и нас отвезли в гостиницу... На следующий день Миша играл с Ботвинником очередную партию.

Однажды мне довелось "подсмотреть" Аркадия Исаковича Райкина за кулисами. Он уже был немолод, после двух инфарктов. В гримборной только что сидел старый, с трудом говоривший, с трудом двигавшийся больной человек. Но вот он выходит на сцену и мгновенно волшебным образом преображается. На сцене легко, словно танцуя, двигается, жестикулирует, произносит огромные монологи все тот же, прежний, молодой и гениальный артист, и казалось, что время не имеет над ним власти. Это же поражало меня и в Мише. Откуда бралась его бешеная энергия? Где в его изношенном, больном теле гнездилась необъяснимая жизненная сила и неумное желание сражаться за шахматной доской? Последние два года он жил с постоянной температурой под 38 градусов и со стафилококковой инфекцией в крови. А он продолжал играть! И в обычных соревнованиях, и в блицтурнирах. Да еще и занимал высокие места... Первым чемпионом мира по молниеносным шахматам был Михаил Таль!.. Нет, недаром о Мише говорили: "Таль — всегда Таль!"...

#### ИЗ БЕСЕДЫ ЕВГЕНИЯ ГИКА С МИХАИЛОМ ТАЛЕМ

Е.Г.: Вы никогда не жалели, что отдали шахматам жизнь?

ТАЛЬ: Шахматы — это мой мир. Не дом, не крепость, в которой я укрываюсь от жизненных тревог, а именно мир. Мир, в котором

я живу полной жизнью, в котором я выражаю себя. Люблю атмосферу матчей, турниров, шахматных дискуссий. Не могу представить себя на необитаемом острове без доски и фигур, без партнера, разве что Пятнице пришлось бы играть со мной матч из тысячи партий. Я не люблю играть при закрытых дверях. Люблю публику. Шум в зале мне не мешает. Когда после моего хода зал начинает гудеть, это меня воодушевляет – знаю, что сыграл интересно.

Но шахматный мир для меня не замкнут. Он соединяется многими нитями с другими мирами. Большинство моих друзей не являются гроссмейстерами и вряд ли ими станут. И с каждым из них у меня есть общий язык. Только мои иные увлечения – театр, литература, музыка никогда не конкурируют с шахматами, а уступают им дорогу. Вот почему, несмотря на поражения, неудачи, удары судьбы, я не жалею об иных перспективах, о неосуществленных возможностях. Я просто люблю играть в шахматы.

Е.Г.: Как Вы понимаете красоту шахмат?

ТАЛЬ: Для многих мастеров шахматная красота заключается в торжестве логики. Прекрасная партия, по их мнению, – это великолепное классическое здание с безупречными пропорциями, в котором каждый элемент, каждый кирпичик стоит на своем месте. И хотя мне тоже приятно брать верх в таких, чисто позиционных поединках, меня больше привлекает триумф алогичной иррациональности. На доске ведется яростная борьба, подчиненная глубокой идее, все продумано до мелочей, планы осуществляются строго в срок, а исход сражения решает ход конем в угол доски, не имеющий ничего общего с главным мотивом драмы.

Выражаясь математическим языком, мне больше всего нравится в шахматах миг, когда катет длиннее гипотенузы!

(*"Шахматный вестник", 1983 г.*)

У Миши была еще одна особенность. При всей скромности, при всем нежелании обращать на себя внимание он был абсолютно раскованным и свободным человеком. Он часто повторял: "Общественное мнение – это мнение общества, которое оно должно иметь при себе". Когда мы жили в Риге

и наслаждались обрушившимся на нас счастьем, он нередко позволял себе весьма эпатажные выходки. Шел, допустим, турнир. На сцене игрались партии. В зале тишина. И вдруг он замечал меня... Мгновенно перескакивал за ограждение, бежал ко мне и начинал при всех целовать. Мишину маму его озорство приводило в ужас. “Что вы себе позволяете на людях?!” – изумлялась она. А Миша говорил: “Мурочка! На людях неудобно целовать чужую жену, а свою – очень даже удобно! Пусть все видят и завидуют!”

Как-то он позвонил мне в Антверпен и стал уговаривать вернуться в Союз. Чтобы быть рядом с ним.

“Мишенька, не говори глупости, ты, наверное, пьян”, – сказала я. “Я тебе завтра все повторю в трезвом виде!” – ответил он...

На следующий день он не позвонил...

После того, как Миша женился на Геле, меня перестали волновать его увлечения. Я могла что-то слышать, но меня это не уязвляло. Однажды я позвонила Геле. Они с Жанночкой жили тогда в Германии в доме Мишиного друга. Спросила: “Как там Миша один без вас справляется со своими болячками?” И вдруг Геля мне говорит: “Не волнуйся. Он не один... Он выдает ее за своего секретаря”. Честно говоря, для меня и по сей день то Мишино увлечение остается загадкой. Я не знаю женщину, о которой шла речь, и не хочу говорить о ней плохого. Хотя мне рассказывали, что буквально все были в шоке от этой связи. Однако, что правда, то правда: любую свою даже кратковременную пассию Миша всегда возводил на пьедестал и впоследствии никогда не говорил о ней ни единого дурного слова. Когда я как-то у него спросила, как он может позволить себе держать рядом женщину, о которой что только не говорят, он ответил: “Саська, ты же знаешь, что больше всего в женщинах я люблю доброту. А она очень и очень добрая”.

Гера с самого начала все знал, но твердо сохранял мужскую тайну. Только однажды я попыталась в разговоре с

ним поднять эту тему (женское любопытство неодолимо!). Он сказал: “Папа имеет право на необъяснимый порыв, и порицать его никто не должен”. “Но твое-то мнение как-во?” – спросила я. “Мое мнение – мое мнение, и ничье больше”, – ответил он. “Папин сын”, – подумала я... Кстати, Герина наследованная самодостаточность и самостоятельность особенно отчетливо проявились еще как-то однажды.

Герра сказал, что на поминках моего отца Миша произнес в мою честь слишком возвышенные слова, что вызвало у сына недовольство. “По-моему, это была первая и единственная папина бестактность, – сказал мне сын. – Бестактность по отношению к Геле... Извини, мамуля...”

Если же возвращаться к теме “мужской солидарности”, то приходит на память один разговор с моим отцом... Отец обладал изумительным голосом. У него был тенор. Когда в Литве началась мода на еврейские ансамбли, на еврейские спектакли, еврейские песни, отец стал много петь, и они с мамой записали много пластинок. Он умер внезапно. Инсульт. За пять минут до концерта... У Миши с моим отцом были особые, очень теплые отношения. И тогда, когда мы с Мишей еще были одной семьей, и потом. Они общались независимо от меня. Отдельно. Чисто по-мужски... Во время Мишиного романа с Л. отец, находясь в Москве, случайно встретил Мишу в лифте гостиницы. Мишу и Л. Отец был в курсе дела. Он никак не прореагировал на Л. и не задал Мише ни одного вопроса. Отец и мне не сказал о той встрече... Только спустя много лет, и то случайно, обмолвился, и я спросила у него, почему он в свое время скрыл от меня этот факт. Все-таки я – его родная дочь! Папа сказал тогда: “Если бы твоим мужем был заурядный беспутный малый, я бы вел себя иначе... Но твоим мужем был Таль! Человек “номер один”! Ему все позволено. А ты – человек “номер два”, и что позволено Юпитеру, не позволено быку! Это надо понимать”.

... Откуда у Миши брались силы еще и на “женские дела”, остается для меня непостижимой тайной. Как бы ни бы-

ло, но я не имею права осуждать его. И никто не имеет права его осуждать...

У меня хранится письмо, присланное мне Михаилом Моисеевичем Ботвинником, датированное 1 ноября 1967 года. Письмо написано в типично "ботвинниковской", несколько поучительной интонации. Вот оно:

"Салли,

может быть, Вам и неприятно будет прочесть это письмо, но не вижу иного способа помочь Михаилу Нехемьевичу. Догадываясь о форме заболевания М.Н., я беседовал с профессором А.В. Снежневским. Он (Снежневский) не только директор Института психиатрии АМН, но в его распоряжении многие лекарства из-за рубежа. Снежневский готов оказать М.Н. необходимую помощь, если М.Н. прибудет к нему на прием в Москву.

Если М.Н. приедет в Москву, то, разумеется, желательно присутствие лечащего врача или, в крайнем случае, "истории болезни".

Если М.Н. не может прибыть в Москву (думаю, что это скорейший путь к выздоровлению), то помощник-Снежневского рекомендует обратиться к Григорию Абрамовичу Ротштейну, ныне профессору Рижского мед. института. Г.А. Ротштейн специализировался по этой самой форме заболевания, что, видимо, у М.Н.

Г.А. Ротштейну для М.Н. могут быть отправлены из Москвы все лекарства, что есть в Москве и которых, несомненно, нет в Риге.

По тем сведениям, что я случайно получил о состоянии М.Н., подозреваю, что новейшие лекарства не применяются. Сейчас лечат довольно мягкими средствами.

Напишите, пожалуйста, Сало Флору (или мне), что вы решились.

Надеюсь, Вы меня не забыли.

*Искренний привет,  
М. Ботвинник  
Москва, 1.11.67".*

Думаю, Михаил Моисеевич не разобрался тогда в ситуации. Можно только себе представить, что было бы, если бы в то время мы положили Мишу в Институт психиатрии в обстановке “секретности и конфиденциальности”. До конца жизни Таль ходил бы с клеймом психбольного и наркомана, а это автоматически сделало бы его “ограниченно трудоспособным”, а стало быть, и невыездным. Ему была бы, в лучшем случае, уготована судьба дельфина, отловленного и помещенного в дельфинарий...

Я показала письмо Ботвинника Мише. Он его очень серьезно прочитал и на некоторое время задумался, глядя куда-то в пространство, словно вспоминая забытый дебютный вариант. Потом вскинул брови, будто его озарило, и сказал: “Я понял! Патриарх просто влюбился в тебя и хочет перетащить в Москву. Но стоит ли разменивать одного экс-чемпиона мира на другого?”

Выглядело это обычной Мишиной шуткой, но я не уверена в том, что он всего лишь пошутил... У Миши были непростые отношения с Ботвинником. В них был определенный подтекст — ведь еще совсем недавно они обменялись тяжелыми нокаутами, а это не могло пройти бесследно... Но должна сказать, что о Ботвиннике как о великом шахматисте Миша был высочайшего мнения.

Вообще же, со всей шахматной элитой Таль, как я уже говорила, умел ладить (хотя кое-кто, не исключая, любил его так, как Сальери — Моцарта). Миша дружил с Борей Спаским, почтительно и восхищенно относился к Паулю Кересу... К Петросяну питал просто-таки нежные чувства, и когда тот стал чемпионом мира, радовался, как ребенок. Из молодого поколения обожал Рафика Ваганяна. Каспарова заметил еще тогда, когда Гарри был совсем юным. Как-то я спросила Мишу: “А что, Гарик действительно такой одаренный?” “Это гений”, — мгновенно ответил он... Помню, очень тяжело Миша пережил смерть Лёни Штейна, которого он считал одним из главных претендентов на шахматный трон... Мне кажется, что я помню всех — ведь в свое время я их хорошо знала. Хотя сегодня мне порой трудно представить, что это когда-то было...

В последние два года Миша звонил мне особенно часто. Отовсюду, где бы он ни находился... “Саська, я тебя после Израиля еще не видел...” “Саська, я там-то. Приезжай...” “Саська, я сказал тебе не все слова...” Даже сказала ему однажды: “Мишенька, на те деньги, что ты тратишь на переговоры, ты уже мог бы купить мне персональный самолет...” Он наверняка чувствовал приближение конца...

Последний его звонок был из Германии. От Гели. Тот звонок останется во мне до конца жизни. Он очень просил приехать в Тилбург, говорил, что это совсем рядом с Антверпеном, всего-то — сесть за руль и приехать... Каких-нибудь полтора-два часа... Но я в те дни подхватила омерзительную инфекцию — у меня страшно болели и слезились глаза, и ни о каком сидении за рулем, естественно, не могло быть и речи. Я была не в состоянии... Ответила: “Миша! Ты же каждый год приезжаешь в Тилбург. Будет следующий Тилбург...”

А следующего Тилбурга уже не было...

В конце июня 1992 года приехал из Израиля Гера. Я очень хотела, чтобы он отдохнул, и повезла его на взморье, в курортное место под названием Кноки, где на сезон сняла квартиру. Мы не стали разбирать вещи и сразу пошли на пляж. Провалялись часа два, пообедали в маленьком прибрежном ресторанчике, пришли в дом. Гера лег на диван и, как мне показалось, задремал. Я тоже прилегла в соседней комнате.

Вдруг у меня началось сильное сердцебиение — возникло чувство тревоги. Похоже, природа наградила меня даром необъяснимого предчувствия. Кстати, Миша неоднократно это отмечал... Я поднялась, заходила по комнате из угла в угол... Взяла сигарету, закурила. И тут я совершенно безотчетно вхожу к Гере и говорю: “Поехали в Антверпен! Мы не можем дольше здесь оставаться!” “В чем дело, мама?” — спрашивает он. Я отвечаю: “Что-то случилось... Не знаю, что, но что-то случилось...” Мое состояние сильно напугало сына: не говоря больше ни слова, он схватил так и не разобранные вещи, мы сели в машину и помчались в Антверпен... По дороге в Кноки Гера рассказал мне увиденный им



накануне жуткий сон — он всплыл в памяти, после чего у меня уже не было сомнений: ЧТО-ТО случилось!

Дальнейшее — как в бреду...

Едва мы переступили порог антверпенской квартиры, бросилась к автоответчику — из Германии звонила встревоженная, переволновавшаяся Геля: “Мише очень плохо. Мы с Жанночкой вылетаем в Москву”.

Я рухнула в кресло как подкошенная.

Сердце выскакивает из груди, в голове одна мысль: “На этот раз добром не кончится”. Гера мечется по квартире — совершенно растерянный. Пытается утешить меня: у папы это не в первый раз, и теперь все обойдется... Но я вижу, что сам он еле держится... Гера говорит: надо ехать в Москву, настаивает, чтобы я осталась дома — он боится за меня.

Легко сказать “надо ехать в Москву”. Каким образом? Гера — гражданин Израиля. У него нет визы. “Еду в посольство, — заключает он, — там разберемся”. Позднее я узнала, с каким трудом ему выдали визу...

В конце концов Гера вылетел в Москву, я осталась одна. Стала звонить в Москву по всем телефонам, чтобы узнать номер больницы... И когда наконец дозвонилась, услышала два безжалостных, ледящих слова. Как приговор: СОСТОЯНИЕ БЕЗНАДЕЖНОЕ. Мне стало невыносимо страшно одной в квартире, переночевала у приятельницы...

Я пыталась на чем-то сосредоточиться, но не могла. Мысли, вернее, обрывки мыслей неожиданно возникали и исчезали бесследно. Не покидал меня, все время возвращаясь, только один назойливый вопрос: “Чем я провинилась перед Богом, что Он за короткое время отнял у меня одного за другим самых близких мне людей?”

Сначала Джо, потом — папа, и вот теперь следом за ними уходит Миша... Словно связанные одной веревкой альпинисты...

Но Миша не умрет... Уж сколько раз вытаскивали его из безнадежных состояний... Вытащат и теперь... И тут же интуиция подсказывала мне: не вытащат...

Или, может быть, все-таки обойдется? Как-то мы все привыкли к тому, что Миша болел в течение всей жизни, и он приучил нас к своему состоянию. Он нас к нему адаптировал: мы считали его “вечным” и не могли представить себе, что эта “вечность” когда-нибудь кончится... То есть кончится, конечно... Но после нас.

Во всяком случае я знала, Миша жив — значит, есть духовная опора, некая лесенка, по которой всегда можно спуститься в томительно-нежное далекое прошлое или постоять на ней в настоящем, испытывая покой и уверенность от сознания того, что есть ОН, великий Таль, и этот великий Таль тебя продолжает помнить... А можно было попытаться сделать по той лесенке и несколько шагов в будущее, не сомневаясь, что ОН ждет тебя и в будущем, что поддержит тебя и не даст упасть...

... В тревожном неведении еле дождалась утра, сказала своей приятельнице: “Не могу здесь находиться... Я должна вернуться домой”.

Дома меня ждал факс: “Мамуля! Папа УМЕР. Приезжай”.

Подошла к аптечному шкафчику, проглотила дозу транквилизаторов. Потом села в кресло. Несколько часов просидела, словно мумия. Привел меня в чувство телефонный звонок:

“Я прошу тебя, ты должна, ты обязана приехать... Похороны в Риге”, — доходит до меня наконец смысл последних слов Радко Кнежевича.

А я боялась ехать. Я боялась увидеть Мишу мертвым. Я не хотела видеть его мертвым. Не имел он права быть мертвым. И никто не должен видеть его мертвым. Не позволит он видеть себя мертвым... Это удел кого угодно, но только — не его...

Потом позвонил Гера и сказал, что очень боится за меня, что могу не перенести Мишины похороны...

Видимо, я была совсем не адекватна, потому что сказала сама себе: “Что за чудовищная мистификация! Какие похороны!? Они просто все сошли с ума! Я должна поехать и убедить их в том, что все это — очередная Мишина проделка...”

... В гробу лежал не Миша. Лежал чужой человек, плохо загримированный под Мишу. А все прощались с ним, как с Мишей. Это было очень страшно. Воспаленный мозг ждет, что вот сейчас откуда-то появится Миша и скажет: “Ребята, что это с вами? Не я же лежу в гробу! Перестаньте плакать! Мне завтра партизан играть!” Но Миша не появлялся, и кто-то, напомилавший Мишу, продолжал лежать в гробу, и все прощались с ним, как с Мишей...

А дальше — калейдоскоп каких-то реальных и в то же время нереальных видений... Я часто вижу во сне Мишины похороны и, когда просыпаюсь, не могу понять: эти сны — воспоминания о реальных событиях или те события были сном?..

... Мы сидим в еврейской общине, крепко держась за руки, словно вцепившись: Геля, Жанночка, Гера и я...

Нашего Миши больше нет...

... Алик Бах рыдает: “Саллинька, неужели он умер...”

... Женя Бебчук изо всех сил пытается не плакать и шепотом дает кому-то какие-то распоряжения...

... На мне темные очки. Они закрывают распухшие от слез глаза, которые и без них все равно ничего не видят, кроме Миши... Нет, не Миши...

... Высокий плотный человек: “Салли, я Вас не узнал...”  
Это Володя Багиров.

... Саша Замчук, который познакомил нас с Мишей. “Вот видишь...” — растерянно и словно извиняясь за что-то, говорит он.

... Яшина женщина... Теперь Яшина вдова...

... Гипслис... Радко Кнежевич, который время от времени повторяет: “Вот и нет Мишки...”

... Кобленц, совершенно убитый, произносит что-то на полувеврейском, полурусском языке...

... Много и совсем незнакомых людей, и знакомых, полузабытых, которые приходят, словно призраки прошлого... Много людей, но мне кажется, что мало... И опять я думаю, что хоронят не Мишу, потому что на Мишины похороны должен прийти весь мир...

Гроб опускают в землю...

... Рахманинов, Рахманинов, Рахманинов. ЕГО любимый Рахманинов, который с того дня вызывает сразу только одну ассоциацию – Мишины похороны...

... Потом квартира на улице Горького. Словно ничего и не изменилось... То же столпотворение людей. По-моему, даже кто-то “блицует”, “обзванивая” друг друга и вспоминая, как это делал Миша... Курят... Словно ничего и не изменилось... Только не пожалуется на дым Ида и не смахнет пыль с портрета доктора Нехемии Таля... Не проскочит в свою комнату с очередной “жертвой” Яша... Не уронит пепел на доску Миша и не крикнет Роберту: “Джек! Принеси нам пепельницу!” Потому что нет больше в этой квартире Иды, нет Яши, нет Роберта... И нет Миши... Никогда им уж больше не быть в этой квартире...

... И опять мы рядом. Словно четверо сирот – Геля, Жанночка, Гера и я... А у Жанночки вчера был день рождения...

... Гера очень тепло говорит о Карпове, который всех на ноги поднял, чтобы организовать транспортировку гроба из Москвы в Ригу...

ОТРЫВОК ИЗ ИНТЕРВЬЮ, ДАННОГО АНАТОЛИЕМ КАРПОВЫМ Б. ДОЛМАТОВСКОМУ ДЛЯ “ШАХМАТНОГО ВЕСТНИКА” (1993 г.)

Б.Д.: Анатолий Евгеньевич, какое место в Вашей жизни занимает Таль?

А. Карпов: С Михаилом Нехемьевичем нас связывало многое. Он был моим тренером на матче с Корчным в Багио. Потом, правда, он болел за Каспарова и даже помогал ему. И если бы он был другой человек, то это бы как-то запомнилось. Но Таль был Талем. Очень жаль, что его нет с нами. Это был фантастический человек, и до конца жизни, даже будучи совершенно больным, он играл блестяще. Ему можно завидовать белой завистью.

... И опять — Рахманинов, Рахманинов, Рахманинов...

... Я вернулась в Антверпен, где и живу по сей день. Со смертью Миши у меня начался новый, другой период моей жизни... Миша когда-то безуспешно пытался обучить меня шахматной игре. Я оказалась бездарной ученицей, но запомнила, как ходят фигуры, запомнила кое-какую терминологию. Так вот, со смертью Миши миттельшпиль как-то сразу перешел в эндшпиль. Иногда этот эндшпиль я считаю безнадёжным...

Умом я понимаю, что Миши НЕТ, но все время такое, о котором я уже говорила, неотступное ощущение, что он где-то играет в каком-то очередном турнире, но почему-то не звонит больше. Часто ловлю себя на том, что жду его звонка... И иногда звонок раздаётся, я хватаю трубку и слышу: “Рыжик?” Поразительно похожи голосовые интонации Миши и нашего сына. Даже не по себе становится... А вот привычное “Саська!” — я больше не слышу. Даже Геля, которая при жизни Миши тоже называла меня Саськой, теперь говорит мне только “Саллинька”... “Почему не Саська? Почему ты называешь меня Саллинькой?” “Саллинька, — говорит Геля, — Саськой ты была для Миши и, пока он был жив, для меня — тоже... А теперь ты — Саллинька...”

Я часто вижу сны, сны-воспоминания. Тематика ностальгическая. Эти сны мне не досаждают. Наоборот, иногда я ложусь спать и “заказываю” себе сны: вот бы увидеть...

...Мы гуляем по Риге втроем — Миша, Булочка в коляске и я... Коляска югославская. Миша привез, когда Гера родился... Я — как Снегурочка: белые сапожки и белая шубка... Миша привез... Мы гуляем, а люди оборачиваются — слышу: “Таль! Таль!” А Миша говорит им: “Это — моя Саська и наш Гусеныш, наша Булочка!”...

... Упаковываю чемодан для Мишиной поездки и кладу туда записку: “Привезти для МИШИ туфли такого-то размера и костюм такого-то размера. Мишенька! У тебя единственный костюм!” И подчеркиваю... Миша берет чемодан и напевает: “Я сказал тебе не все слова...”

... Рядом Ида. Она лежит на больничной койке под портретом Нехемии Таля. Ида шепчет мне: “Доченька, умоляю тебя – не забывай Мишеньку...”

... На другой койке Джо. Он пришел в сознание: “Саллинка! Радость-то какая! Миша занял в блице первое место!”

... Почему-то рядом Василий Васильевич Смыслов: “Вот Вы бросили его, и он начал пить”.

... И Гера. На руках у него маленькая Мишель (Миська!). Гера говорит: “Мамуля! Какая ты счастливая! Какие прекрасные люди тебя окружали...”

Такие или похожие полусны-полувоспоминания посещают меня в разных сочетаниях. Просыпаюсь, долго вхожу в действительность... И думаю: “Кто же это запрограммировал в мою жизнь Мишу? Кто вонзил в нас две стрелы, связанные у оперений невидимой нитью? И нельзя вытащить эти стрелы... А если и можно, то только вместе с душой... И нет ли закономерности в том, что Миша сказал мне не “все слова”. Ведь и я тоже так и не сказала ему “все слова”... Да и все любящие люди не успевают при жизни сказать друг другу “все слова”... А досказать, наверное, можно только ТАМ. Там, где сейчас Миша...

«... Загадка феномена Михаила Таля не разрешена и не может быть разрешена однозначно, подобно тайнам Микеланджело, Паганини и Калиостро. Пока существует шахматный мир, на его небосклоне всегда будет сверкать ярчайшая, загадочная и притягательная звезда по имени Таль».

*(“Балтийские шахматы”, 1992 г.)*

И еще я вспоминаю иногда один старый знаменитый американский фильм, который смотрела в юности. У нас он назывался “Судьба солдата в Америке”, а в американском варианте – “Эти огненные двадцатые...”. В конце фильма героя убивают и он скатывается по длинной лестнице к ногам

женщины, которая прошла через всю его жизнь. Подоспевший полицейский спрашивает у той женщины: “Вы знали этого человека?” “Да”, – отвечает она. “Кем он вам приходился?” И женщина, как бы вспоминая прожитое, отвечает: “Этого я до сих пор не могу понять...”

Если мне зададут такой вопрос, почти так же отвечу: “Этого я до сих пор не могу понять... Просто это был МОЙ ТАТЬ...”

*ИЗ ДОМАШНЕГО АЛЬБОМА*









*Сали и  
Миша.  
В день  
помолвки*



Дворец  
брако-  
сочетаний,  
1959 год





Миша и  
Петросян.  
Югославия  
, 1959 год



Лейпциг.  
Шахмат-  
ная  
олимпиа-  
да,  
1960 год

*Миша,  
Васюков,  
Петросян*





Салли.  
Омск —  
эстрада.  
За  
роялем —  
Раймонд  
Паулс

*Рига —  
театр*







*Актриса  
и певица  
Ландау*



*Гроссмей-  
стер Таль*





*По  
лестнице,  
ведущей  
наверх*

*Миша и  
Салли.  
Тяжкий  
труд  
познания...*





*Сали,  
Миша,  
Мишина  
мама*



*Мишина  
мама с  
внуком*

*Роберт,  
Миша и  
наш сын*



*Наш сын  
Гера*





*Таль в  
фильме  
"Семь  
шагов за  
горизонт"*

*В атаку-  
ющем  
стиле...*







*Сеанс  
одновременной  
игры*

Два гения  
Миша  
Таль  
и Бобби  
Фишер  
и их  
ближай-  
шее  
окружение



Чемпионы  
мира:  
Карпов,  
Каспаров,  
Таль





Миша, Салли, Джо — Брюссель, 1986

---

<i>ПРЕДИСЛОВИЕ</i>	5
<i>ВСТУПЛЕНИЕ.</i> Теплое лето на Рижском взморье. <i>Арк. Арканов</i>	6
<i>САЛЛИ</i>	12
<i>ГЕРА</i>	77
<i>Снова САЛЛИ</i>	107
<i>ИЗ ДОМАШНЕГО АЛЬБОМА</i>	195

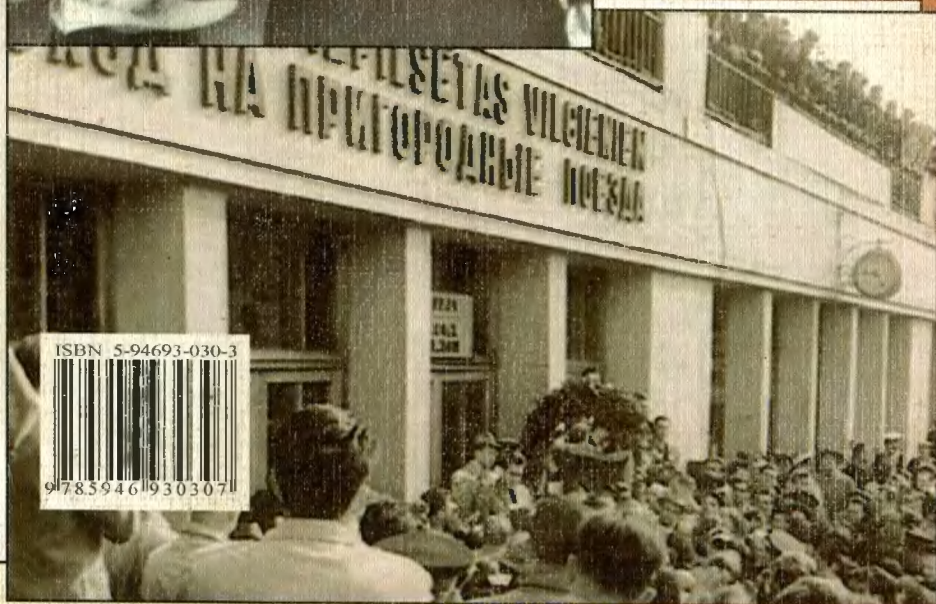
---



Для меня Миша всегда останется только моим – моим первым мужем, моим другом, отцом нашего сына Геры. Я очень хотела материализовать свои калейдоскопические воспоминания, пронизанные моими женскими эмоциями, и Герины, сыновние, в книгу, чтобы ее мог прочитать любой человек, даже не умеющий играть в шахматы.

Салли Ландау

Рига встречает  
чемпиона мира



ISBN 5-94693-030-3



9 785946 930307